

ЕВГЕНИЙ ЛУКИН

ВРЕМЕННИ
ХОЛСТ



ИЗБРАННОЕ

Евгений Лукин

Времени холст. Избранное

Издательско-Торговый Дом "СКИФИЯ"

2016

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)

Лукин Е. В.

Времени холст. Избранное / Е. В. Лукин — Издательско-
Торговый Дом "СКИФИЯ", 2016

ISBN 978-5-903463-45-9

Евгений Лукин вошел в литературу как переводчик древнерусских песен – «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели Русской земли», «Задонщина». Академики Д. С. Лихачев и Л. А. Дмитриев высоко оценили эти переложения, назвав их «лучшими на сегодняшний день в русской литературе». В дальнейшем почти каждое произведение писателя вызывало живой отклик читателей и одобрение коллег. Роман «По небу полуночи ангел летел» отмечен премией имени Н. В. Гоголя, а повесть «Танки на Москву» о первой чеченской войне признана лучшей публикацией журнала «Нева» за 2009 год. В книгу Евгения Лукина «Времени холст» вошли лучшие образцы его поэзии, прозы, эссеистики, а также переводы. Изданная к юбилею автора, она включила в себя биографические материалы, статьи и рецензии, посвященные творчеству этого петербургского писателя.

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)

ISBN 978-5-903463-45-9

© Лукин Е. В., 2016
© Издательско-Торговый Дом
"СКИФИЯ", 2016

Содержание

Альфа и омега евгения лукина	7
Стихи и проза	10
Читаю часы	10
Сталин с нами	11
Глухарь	13
Два разговора	14
Полустанок	15
Confessione	17
Волхвы	19
Начало	20
Застольная беседа с действительным статским советником Гавриилом Державиным	21
Элегия	23
Видение грозы над Михайловским замком	24
Эсквилинские птицы	26
На поле Пушкина	27
Пирушка с рабочим котельной № 3, что близ Казанского собора в Петербурге	28
Ода на установление в Петербурге памятника чижик-пыжику, сотворенного Резо Габриадзе	30
Пантелеймоновская церковь	32
Павловск	33
Перстень	35
Рождественское чудо	36
«На небе Бог и светлая звезда...»	37
По небу полуночи ангел летел	38
Двенадцать часов	38
Сады адониса	39
Самоварная дырка	40
Год мракобесия	41
Имя дырки	43
Привет от Ньютона	44
Вакханка	45
Яблоко	47
Родословная	48
Телефонная интермедия	50
Цудзугири	50
Стоять, Зорька!	51
Дух Дельвига	55
Раффлезия арнольди	55
Усукиррко	56
Голубка	58
Водка, сало, Достоевский	59
Дырявый вечер	60
Бутербродник	63
Круголеты	65

Наследники Чингисхана	66
Война в Эдеме	66
Сонетка	67
Ермаков	69
Кандидат № 1	70
Инсект Мурий	71
Пустошка	72
Старик емшан	73
Закон Нумбакулы	74
Телефонная интермедия	75
Белый волк	75
Нарцисс	76
Заслуженный соловей	77
Стена девяти драконов	78
Постмодерный батюшка	80
Нонконформист Эш	81
Шестое доказательство	83
Номерок	83
Диван Бродского	84
Время жить в Петербурге	86
Телефонная интермедия	87
Мусорное ведро	87
Несоответствия	89
Фашистская выходка	90
Мертвопись	90
Полномочный спецчеловек	91
Телефонная интермедия	92
Черная точка	93
ОМУ	94
Абу Грейб	95
Баобабы	96
Рамбовская троица	96
Бедный рыцарь	98
Варвар	100
Ленинградское дело	101
Телефонная интермедия	101
Окнище в Европу	101
Капитул	103
Французские кролики	105
Испанский воротник	105
Подделка	106
Опаньки с притопом	107
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Евгений Лукин

Времени холст. Избранное

Издание осуществлено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

Альфа и омега евгения лукина

Творчество петербургского писателя Евгения Лукина – глубокое явление подлинно петербургской линии русской литературы, вобравшее в себя и талантливо переосмыслившее многое в ней: поэтико-эпические традиции средневековой Руси, художественный опыт Пушкина и Гоголя, нравственные уроки Достоевского, светлый строй мышления русской религиозной философии, языково-семантические эксперименты отечественного литературного авангарда, особенности «мифологического реализма» последнего века, художественные поиски постмодернистской словесности и ряд других феноменов искусства.

Типологически литературная деятельность писателя многонаправленна и разнообразна по жанрам. При этом его творчество является художественно цельным, ибо он обладает ярко выраженным собственным интеллектуально-поэтическим стилем и особой формой образного повествования-рефлексии, четко маркирующими весь спектр его литературных созданий.

Особое место в творчестве Евгения Лукина занимают поэтические переложения эпических песен средневековой Руси – «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели Русской земли», «Задонщина». Он глубоко проник в характер мифопоэтического сказа и могучую духовную энергию народного предания, в суть анимистической символики природы в миропредставлении славянорусов, постиг смыслоценности бытия дружинного рыцарства, ощутил накал патриотических чувств создателей эпоса и осознал значимость творческого воскрешения древних песен для нового единения россиян, запутавшихся в хаосе разлада последнего десятилетия минувшего века. Переложение знаменитого памятника древнерусской литературы на современное наречие было очень удачным в художественном отношении и вполне соответствовало духу первоисточника. Это поэтическое переложение высоко оценили великий исследователь культуры Руси академик Д. С. Лихачев и ученые – знатоки эпического наследия Л. А. Дмитриев и О. В. Творогов.

Евгению Лукину глубоко интересны истоки русской истории, геосакральное и историческое пространство русского духа, возникшее, по его словам, «в результате согласного сочетания разных народных сущностей», на «перекрестье славянского, скандинавского, кельтского и греческого миров». Этой проблематике он посвятил целый ряд оригинальных философско-литературных эссе: «Киев и Петербург: альфа и омега русского пути», «Песнь о Вещем Олеге», «Три богатыря», «Петербургская идея и американская мечта» и др. В этих эссе выстроена своеобразная методология историко-культурологического дискурса, позволяющая сделать научные открытия в переосмыслении хрестоматийных стандартов фольклористики. В результате Вещий Олег предстает не только как полководец, жрец и пророк, первотворец Русской земли, но и как первый ее поэт, владеющий чудодейственной силой слова. Не менее интересны открытия родословных трех богатырей: Алеша Поповича – сына премудрого и могучего славянского волхва Чудорода; Ильи Муромца – потомка викингов (приплывших на кораблях со звериной символикой «Змеев Горынычей» на их носу, корме и боках, олицетворяющей завоевателей), который стал служить в варяжской дружине князя Руси, сверг языческое Идолище, утверждая православную веру; Добрыни Никитича – потомка знатного славянского рода, победившего Змея Горыныча и разумно поддержавшего христианство на своей Матери-Земле.

Собрание философско-литературных эссе писателя содержит блестящие семантико-культурологические штудии поэтического языка русских авангардистов (Велимира Хлебникова, Елены Гуро, Алексея Крученых, Александра Введенского). В их поисках «новых сочетаний словесных символов и понятий» Евгений Лукин обнаружил глубинную «традиционную и мифологическую основу». Именно язык удерживает целостность культуры и концентрирует в подлинной поэзии ядро культурных смыслов. Даже «русская поэзия бессмыслицы имеет свои древние религиозные и национальные истоки», – делает вывод автор.

В книгу избранных произведений Евгения Лукина вошли и поэтические переводы древнегреческого поэта Тимофея Милетского, знаменитого скальда эпохи Ярослава Мудрого Харальда Хардреды, и современных норвежских и немецких поэтов. Несмотря на толщю времен и широту поэтического пространства «от греков до варягов», переводчик органично пребывает в нем, находит верный художественный аналог переводимому тексту и ясно доносит до нас чувства и мысли каждого поэта как живого человека – современника. Вот, например, строки из знаменитого стихотворения «Метопа» лауреата Нобелевской премии норвежского поэта Улафа Булля:

О моя одинокая! Все, чем утешить сумею, —
Это молча лелеять душистые пряди твои
И влюбленно глядеть на тебя, будто Пан – на Психею
У ржаной полосы, под мерцающим знаком любви.

Петербургская поэма Евгения Лукина – роман «По небу полуночи ангел летел» – продолжила и развила линию изящных лирико-метафорических стихотворений в прозе о Летнем саде – «Lustgarten, сиречь Вертоград царский», но серьезная речь велась уже обо всем реально-сакральном пространстве северной столицы. Текст романа представляет собой каскад новелл, объединенных общим мотивом. Это – не оправдавшиеся ожидания петербуржцев юбилея 300-летия города как всенародного празднования. В романе действуют параллельные герои: один с высоким стремлением к чистой божественной идее (Фуражкин); другой – с корыстной жадностью использовать музей-Петербург для собственной выгоды (Обмолотов). Роман строится на полу-ироническом контрасте желаемого и реального, обиденного и мифологического, причем развитие интриги не обошлось без участия недоброй ирреальной силы. Ангел не слетел со шпилья Петроградского собора и не совершил величественный полет над городом в финале праздника, а остался хранить его под своими золотыми крыльями. Как считает платонически философствующий герой романа Фуражкин, это произошло потому, что «великая идея должна знать не только свое место, но и свое время, что среди нескончаемой вселенной пустоты должна всегда оставаться хоть бы одна неосуществленная идея, которая согреет своим огоньком холод нашего существования».

Современная литература красоты, петербургский роман Евгения Лукина имеет богатый культурно-эстетический контекст, изысканную интеллектуальность, акварельные поэтические реминисценции, языковую игру, забавные ассоциации и держит высокий порог духовности.

Новая поэма «в прозе и бронзе» – «Памятник» – является художественным плодом зрелого мастера. Она посвящена проблеме статуса человека, которая, по мнению одного из героев поэмы, стала «столь злободневной в современном киническом мире». Автор гротескно-сатирически живописует современную культуру блефа серого чиновничьего социума с его *idée fixe* собственной монументализации – «бронзовой почести», непомерным самолюбием и беспримерным тщеславием, олицетворенным в образе действительного государственного советника. Богатая лексика, замечательный комплекс метафор и крылатых выражений, точность характеристик людей и вещей, смачность картин застолья с «фламандской роскошью блюд», выразительность жизненных деталей, самоирония – все это присутствует в поэме, рассчитанной на взыскательного читателя.

Жемчужиной философско-литературного творчества Евгения Лукина видится миниатюра «Философия капитана Лебядкина», темой которой стало мировоззрение второстепенного персонажа романа Ф. М. Достоевского с идеей «тараканочеловека». Автор обращается к важнейшей проблеме «маленького человека», его «тварно-нетварной сущности» и мастерски анализирует соответствующие тексты русских писателей. Речь в них идет о жестокости природных законов существования любого социума и необходимости создания такой нравственной

системы жизнеустройства, в которой были бы запрещены проявления агрессии – «антропоинсектизма» и действовал механизм духовного преображения человека, в процессе которого им обретается высший этос и способность «любить всех братьев – людей вне зависимости от личности». Помнится, заключает автор философской миниатюры, «к этому призывал и Тот, Кто явился на нашу грешную землю две тысячи лет назад». Эта ценностная стратегия человеческого существования сегодня еще более значима, нежели в прежние времена.

Культурная энергетика великого города, его текст с особым «семантическим аккордом», выражающим итоговые смыслы исторического наследия России, продолжают питать творчество Евгения Лукина – этого оригинального писателя современности.

Любовь Мосолова,

кандидат философских наук,

доктор искусствоведения.

АЛЬФА И ОМЕГА ЕВГЕНИЯ ЛУКИНА

Стихи и проза

Читаю часы

Читаю часы на воротах вокзальных:
Там цифры томятся в колодках печальных,
Там пишет последнюю летопись ночь.
Там острая стрелка – клинок харалужный,
Ипатьевский штык со щербиной натружной,
Впопад подвернувшийся Углича нож.

Настала пора называть виноватых,
Каких-нибудь стрелочников, провожатых:
Столетие смутное, час роковой,
А он, полуночный, и вправду не ровен,
Но в темном былом, видит Бог, не виновен —
Виновен царевич, сапожник, портной.

Я тоже, я тоже виновен, не скрою:
Плачу за столетие собственной кровью,
А кто виноват, оправдается враз:
Младенца убить? То минутное дело,
Так время сказало, так время велело,
Которое знать не желает про нас.

Читаю часы на воротах вокзальных,
Там цифры томятся в колодках печальных,
Там острая стрелка – ипатьевский штык.
Ни милости, ни покаянья не будет.
Сам Каин себя никогда не осудит,
Ни водка, ни крест не развяжут язык.

Сталин с нами

Опыт расщепления сознания

1

В час, когда на войну призывала труба полковая
И над русской твердыней взошла роковая звезда,
Все языки смешались, вся Русь поднялась кочевая,
И на Запад пошли, и пошли на Восток поезда.

В час, когда наступила пора и прощать, и прощаться,
Сын явился к отцу в золоченый кремлевский дворец:
«Что мне делать, отец?» – Тот ответил:
«Идти и сражаться!».
Разве мог в этот час по-другому ответить отец?

Но когда на рассвете куранты пробили державно,
О пленении сына ему доложил вестовой,
Он подумал, что выбыл еще один воин бесславно
Из состава полка. И табак закурил золотой.

И фельдмаршала, взятого в плен у бойниц Сталинграда,
Он менять на бесславного сына не стал, дав отказ,
Ибо на полководца, сказал, не меняю солдата.
И замолк. И табак золотой в его трубке погас.

И стоял вестовой, потрясенный услышанной речью,
Но молчал он, задумавшись, не замечал никого.
И, казалось, душа содрогалась в нем по-человечьи,
Если стоит считать, что имела душа у него.

2

Как в двенадцать часов бьют державно куранты
на Спасской,
Он из гроба встает и отряхивает пыль веков.
Перед ним спит Москва, и, сверкая во мгле азиатской,
Острый месяц украдкой срезает кресты с куполов.

Как в двенадцать часов он идет, не спеша, мостовую,
Равномерно стучат по брусчатке его кирзачи.
Белый китель на нем и фуражка с багровой звездой.
Отдают ему честь постовые в железной ночи.

И, слышав шаги, его стража встает по тревоге,
И его вестовые вступают во злат-стремена.
Реют стяги на башнях и трубы немеют в восторге,
Потому что в державе настали его времена.

Как в двенадцать часов он на Красную площадь выходит,
На гранитную твердь Мавзолея восходит, суров.
На торжественный смотр окровавленный маршал выводит
Легионы погибших, но верных до гроба врагов.

И шагают, шагают во имя его и во славу
Занесенные снегом Мордовии и Колымы.
И товарищи верные рядом стоят по уставу,
И приветствуют мертвых центральной московской тюрьмы.

И когда о введении полной свободы (посмертно)
Он зачитывает совершенно секретный приказ,
Замогильную здравицу все выкликают усердно
И куранты над ним бьют последний двенадцатый раз.

1988

Глухарь

Потому что глухарь – предрассветная птица,
Бормоча и шепча, выкликает на небо зарю,
От молитвы оглохнув, уже ничего не боится,
Выживаемость птицы низка, приближаясь к нулю.

И когда, уточнив глазомером, таежный охотник
Приближается к месту для выстрела – о, посмотри,
Как на ели глухарь, колдовского размаха работник,
Начинает работу по вызову долгой зари.

Так бормочет, так шепчет небесная птица на ели,
Так искусно колдует, так заговор свой говорит,
Что должна неизбежно оказаться она на прицеле,
Ибо это закон, а закон не такое творит.

1987

Два разговора

1

– Откуда ты родом? – спросили и ждут.
– Оттуда, где с зорями сеют и жнут,
Где кровью за всех и за каждого платят,
Где сталь травянистым узором булатят,
Где сноп не сломать и недюжинной силе,
Где звезды шлифуют на крепком точиле...
– Так ты из народа? – смекнули тогда. —
Ты дверью ошибся, тебе не сюда.

2

– Что в книге ученой прочел, книгочей?
Прочел для ума или так, для очей?
– За Мраморным морем, за Белой горой
Страна золотая, в ней град золотой.
На рыночной площади бочка лежит,
Блаженный мудрец в этой бочке сидит.
Он вешью птицей кричит неспроста,
Он просит у каждого ради Христа
И ест только то, что ему подадут.
Его горожане Собакой зовут.
И все же, живя по-собачьи весь век,
Он учит, как должен жить-быть человек.
В укор горожанам он солнечным днем
По городу ходит с большим фонарем.
«Ищу человека!» – твердит, как тропарь,
И светит его одинокий фонарь...
– Эх невидаль – этот мудрец сумасброд!
У нас полстраны по-собачьи живет,
А как по окрестным деревням пойдешь,
Не то что людей – и собак не найдешь.

Полустанок

Опять полустанок в снегах Семизерья,
Где в темном ольховнике бродят поверья,
Где, зычно трубя в златокованный рог,
Несется по рельсам железная вьюга,
Где светится в центре янтарного круга
Дорожный фонарь – одинокий, как Бог.

Вдоль линии всюду змеятся сугробы,
Меж ними – путейские ржавые робы:
Рабочие чистят стальные пути.
Здесь смычка земли и лапландского неба,
Поэтому столько навалено снега —
Ему просто некуда дальше идти.

На сером столбе у разбитой калитки
Шуршат расписания ветхие свитки,
Которые ветер твердит наизусть.
Заветного часа течет ожиданье,
Но ждущим давно ни к чему расписание:
Его знать не знает окольная Русь.

Здесь все по наитию – значит, от Бога:
Ольховник и вьюга, судьба и дорога,
Здесь каждый живет потому, что живет.
Заветного часа течет ожиданье.
Когда он наступит? То Божие знание.
Последний петух все равно пропоет.

Здесь быстро темнеет да долго светает.
Я тоже из тех, кто терпение знает,
Я тоже из тех, кто с надеждой глухой
Глядит и глядит за границу озора,
Где путь обозначен огнем семафора,
Где снегом дымятся верста за верстой.

.....

Когда же промчится железная вьюга,
Застыв лишь на миг у янтарного круга,
Рабочего люда большая толпа —
Усталая, грязная, грозная, злая —
Сойдет с полустанка ордою Мамая,
Как смерть, молчалива, глуха и слепа.

Сошедшим не надо ни рая, ни ада.

Они – из железного дымного града,
Убогим машинам отдавшие труд,
За все заплатившие кровью и солью, —
Как призраки, по снеговому раздолью
В колючую темень идут и идут.

Вон там, на седьмом километре безверья,
Их ждут золотые огни Семизерья,
Их лики угрюмы и тяжки шаги.
И я вслед за ними, за ними, за ними
Иду, ослепленный снегами густыми.
Куда же идем мы? Не видно ни зги.

1988

Confessione

О, дайте мне взглянуть на пышный Рим!
Константин Батюшков

Белый лист, вологодский сугроб,
Снеговина раскрытой тетради...
Я листаю пустые страницы,
И становится холодно мне
От листов синеватой бумаги,
Будто я, сумасшедший, бреду
По бескрайнему снежному полю
Или еду на тройке почтовой,
Золотые подковы звенят,
Запятые летят из-под них,
А вокруг ветровые деревни,
Горький запах оленьего жира,
Зажигает мужик сигарету,
И верблюды полыхают в снегу,
И горит пирамидный Египет,
И дымится за пальмами Рим,
Где кошницы с душистой травой,
Где тимпаны гремят без конца
И хоругви колеблются в сини,
Умирает божественный Тасс,
Телеграф передал в Капитолий
Лебединое слово его:
«Я сражался с дронтеймским солдатом
И, железом ступню окрыляя,
Я стремился сквозь пепел и вьюгу
На верблюде к арабской твердыне,
Но далекая русская дева
Все равно презирает Гаральда,
А мужик из оленьего жира
Не дает мертвецу прикурить!».
Тут потухла моя сигарета,
Ветром перелистнулась страница,
Опрокинулся синий сугроб
На моем деревянном столе,
Тихо поворотилась дорога,
Не сворачивая никуда,
Оказалось, я еду назад,
Золотые подковы звенят,
Запятые летят из-под них,
А вдали пламенеют кресты
Вологодского храма Софии.

1994

Волхвы

Потому что приблизились смутные дни,
Наступила глухая пора волхований,
И безумных пророчеств желали одни,
А другие бежали любых толкований.

О заморских державах что ни говори,
Но в России, сцепляющей Запад с Востоком,
Наблюдающей две равнозначных зари,
Основания есть доверяться пророкам.

И когда, помолившись, Борис Годунов
В одночасье замыслил подняться на царство,
Для совета позвал чужеземных волхвов
Под предлогом волнения за государство.

И волхвы, царедворцу отвесив поклон,
Ожидали со страхом и гнев, и невзгоды,
Но спросил Годунов: «Кто приидет на трон?
Назовите мне имя его, звездочеты!».

И тогда звездочеты, что небом клялись,
Торопливо забыли о небе и чести,
Ибо все, как один, прошептали: «Борис!»,
Не взглянувши на формулы русских созвездий.

И за то, что они так в угоду вошли,
Напоили вином, одарили алмазом,
А потом, как собак, на пустырь сволокли
В соответствии с тайным боярским наказом.

Их забили до смерти жердьем батыри,
Дабы слух о волшбе не пошел ненароком,
Потому что в России, что ни говори,
Основания нет доверяться пророкам.

Начало

У самого синего моря,
У самого синего неба
Есть остров соснового звона
И тихих ракитовых слов.

Кругом дремота древостоя,
Убогое топкое время
Да северо-западный ветер
Над Синусом Финским летит.

И только орел поднебесный,
Ровесник библейского часа,
Пространство крылом измеряет
И время крылом золотит.

Кружится над островом звонким,
Над островом звонким кружится,
И реет на царскую руку,
И руку до крови когтит.

Рука исполняется мощью,
Рука исполняется силой,
Рука исполняется медью,
И медь по суставам течет.

И город встает под рукою...

2001

Застольная беседа с действительным статским советником Гавриилом Державиным

*Един есть Бог, един Державин.
Гавриил Державин*

Шекснинская стерлядь, и щука с пером голубым,
Какой-нибудь лимбургский сыр примечаются сдуру —
И вот уже кубок искрится вином золотым:
Действительный статский советник не пьет политуру.

Река по туманным болотам струит времена
И в пропасть уносит обломки горящего царства,
Да только вода в ней от крови невинной красна
И водоворот синеват от чужого коварства.

Сегодня для русских Эзопа язык как родной:
С улыбкой не скажешь про истину, что охмурила,
Поэтому и разговорец почти что пустой:
– Ну что, брат Евгений?
– Да так как-то все, брат Гаврила!

В Румянцевском садике флейтовый свист снегирей:
Кому – ярлыкастая брань, а кому – переключ молодецкий.
Есть ценник на памятной злат-табакерке твоей
И нет, слава Богу, на лире твоей мурзамецкой.

А в праздник над крепостью гром с серебром пополам
Гремит от турецкой луны до крестов монастырских.
Палит и палит артиллерия по воробьям,
Прицеливаясь в самозванцев (подсказка – симбирских!).

Но словом алмазной резьбы не гранят обелиск:
Сегодня победы – по ветру, а славу – на сплавы.
Куражась в кружалах, поэты спиваются вдрызг,
Покинув забрало, идут на бульвар Ярославны.

Ах, белая скатерть, ах, черный грузинский коньяк:
«Табэ – половина, и мнэ, дарагой, половина».
А любо на стол уронить стопудовый кулак:
«Един есть Господь, посему и держава едина!».

«Служить самодержцу, что Богу служить, господа!
И злат-табакерку не стыдно принять по секрету...»
Вздыхает Фелица: «С пиитами просто беда —
Притворных навалом, иначе придворного нету».

Заглазно, заушно не рай предрекали, а крах:
«Царю да царице нейти сквозь игольную прорезь».
Над синею пропастью Русь удержал Мономах,
Над синею пропастью вздыбил ее Медный Конязь.

Гвардейский поручик: «Ужо, – восклицает, – ему!».
Звенят на плечах золотые подковы сомнений.
Полцарства – в огне, а другие полцарства – в дыму.
– Ну что, брат Гаврила?
– Да так как-то все, брат Евгений!

Шекснинская стерлядь не плещется в мутной воде,
Спешит в балаганчик народный трибун и наветник.
Стихов не читает никто, никогда и нигде.
И пьет политуру действительный статский советник.

Октябрь 1993

Элегия

Моя душа коростяная...
Владимир Нестеровский

Коростяная душа, бессребреник, нищий,
Алчущий пищи земной, а паче небесной,
Чем приглянулась, создатель азбуки града,
Эта ограда турецкой ковки чудесной?

Чем прилюбился тебе, бродяжка вселенский,
Преображенский собор – гранитная нега,
Светоблистанная высь, кресты золотые?
Здесь литургия нежнее первого снега.

Здесь всякий грош – полновес любви и заботы;
Медные годы считает старый калека,
У голубей, почтальонов Елизаветы,
Просит ответы на письма тайного века.

А ты сидишь у ограды ковки турецкой:
Счастье то решкой сверкнет, то птицей двуглавой.
В солнечном воздухе снег искрится и тает —
Вновь сочетается цесаревна со славой.

Видишь, дуга золотится знаком покоя,
У анаоя мерцает сталью кираса —
Значит, трепещут опять ботнийские воды,
Помня походы на запад русского Спаса.

Там никогда не поймут молитву о чуде:
Боже, да будет последней эта победа!
Но возвращается все – по кругу, по кругу:
В белую вьюгу любовь стяжает полсвета.

И ты не знаешь, создатель азбуки улиц,
Чем приглянулись заморцам с дальнего берега
Русская Греция, лед, гранит, ветродуи?
Здесь поцелуи нежнее первого снега.

С елизаветинских кружев этот морозец —
Чересполосица сна, тумана и блессток.
И, оставляя следы на россыпи вьюжной,
Отсвет жемчужный уходит за перекресток.

Видение грозы над Михайловским замком

Гроза, византийская змейка,
Зеленая молния камня,
Скользящая между деревьев
По мраморной лестнице замка,
А в темном Михайловском замке
У светоначальной иконы
Пылает слеза восковая
И спит на полу император,
Укрытый медвежьей ровдугой,
Под шорох ночного дождя.

И снится всю ночь государю,
Как пунш голубой пламенеет
И жгут янычары присягу:
Идет всеоружие бесов,
Идет всеоружие бесов,
Идет всеоружие бесов
На розовую Византию!
Но варварам призрачный всадник
Один выезжает навстречу:
Бог знает, кто здесь победит!

Волшебным резцом заключенный
В блистающем сумраке меди,
Он звонким конем управляет,
Он едет на верную славу
К распахнутым настезь столетьям,
Где синий Азов и Полтава,
Стрельцы, ледяная царевна,
А главное – на море город,
Низринутый осью железной
Однажды с полночных небес.

И вот над пустым Петербургом
Забрезжили павшие звезды,
Истлевшие стяги восстали,
Взошли прошлогодние травы
Из тьмы летописной брусчатки,
А мертвая птица-синица
Зажгла вечный пламень на небе,
Где шла непрерывная битва:
За правнука ратовал прадед,
За сына сражался отец!

А тех, кто бежал или предал,

Топили в Лебяжьей канавке
И сверху землей засыпали:
Ни памятника, ни надгробья.
Едва ли они заслужили
Последнего доброго слова
В предутреннем сне государя,
Когда византийская змейка,
Сверкнув над Михайловским замком,
В моем отразилась окне.

2000

Эсквилинские птицы

К Горацио

Эсквилинские птицы кричат на соседних кладбищах,
Будто кто-то могилами ходит с порожней сумою —
То ли русское, то ли еврейское золото ищет...
Синий дом, где живу я, стоит над рекою Сестрою.

За окном разверзается сад, изумрудятся тени:
Преставление света – ольха вперемешку с осиною.
Если выпить, Гораций, еще по глотку романей —
Голубая форель загнездится на ветви затинной.

Восходящая в мыслях луна озарит наводнение,
Желтый Тибр заплещется возле железной калитки,
А в районной больнице ночник допоздна пламенеет —
Это бедный Евгений читает Сивиллины свитки.

Пусть палладион выкран, и город страшится исхода,
Но царевич Парис, как всегда, остается мужчиной:
«Что же будет, любимый?» – «А будет, Елена, всего-то
Преставление света – ольха вперемешку с осиною».

Вот уже полыхает кипрей, и ситовник, и донник,
Изумрудный мой сад – как горящий тритон под водою.
На размытом кладбище очнется несчастный любовник:
Возвращается дева с небес огневою, святою.

Она даст золотую линейку и очи троянца,
Чтобы солнечный город иной обозначить границей,
Но ограда всегда на костях, ты же знаешь, Гораций,
А свобода всегда на крови и крадется волчицей.

Нынче ночью колдует куманская ведьма, как видно,
Преставляется свет – так зловеща пробежка зарницы,
Потому над крестами, над синей звездой Давида
Эсквилинские птицы кричат, эсквилинские птицы.

На поле Пушкина

Я люблю говорить с мертвыми
Велимир Хлебников

На поле Пушкина цветет мамврийский дуб,
Кипит кастальский ключ и прозябают лозы.
Здесь тонкий парус рыбака, озерный луч,
Разрежет надвое и зрение, и слезы.

Здесь у ночной межи пасется медный конь,
Горит янтарь бахчисарайского фонтана.
Здесь измаильский штык вызванивает сон
И невидимкою блеснит из-за тумана.

Вдали прядет свою дорогу сильный плуг
И циркуль мраморный кружится по озору.
В вечерней школе три сестры судьбу поют,
А босый волк крадется королем к забору.

На поле Пушкина в последний час приду
Проститься с лунным шорохом приветных сосен.
И будет пир на вознесенном берегу,
По-княжески велеречив и грандиозен.

Где спит духовный меч и блещет щит любви
На призрачных коврах персидского изделия,
Там собеседники столетий роковых
На треугольниках готовят мед веселья.

Там вырезается из неба синий звон —
Ветрами говорят ушедшие когда-то.
Люблю я с мертвыми высокий разговор:
В кругу живых молчанье – серебро и злато.

Но вот трубит звезда: пора! пора! пора!
Ворота отворяют время и пространство...
За полем Пушкина тьма тьмущая одна,
Где вор с лягушкой венчаются на царство.

Пирушка с рабочим котельной № 3, что близ Казанского собора в Петербурге

Андрею Крыжановскому

Когда зажуржит огневая пчела в фонаре,
Опустится мгла на узор воронихинской ковки,
Нет лучшего места, чем старый подвал во дворе,
Чтоб выкушать с чувством и толком бутылку зубровки.

Там трубы железные по-ерихонски трубят,
Там падшие ангелы огненной азбуке учат,
Там стрелки приборов о жарких страстях говорят
И всякие твари любовью грешат и мяучат.

А маленький бес, поджидая полуночный час,
Колдует над чаном с водой, где звоночек бубенит.
Длину подземелия меряет вспыхнувший газ,
А бес острым глазом вошедшего гостя приценит.

Бутыль темно-рудного цвета скорее на стол,
Ржаную горбушку и луковицы золотые:
– Так скучно мне, бес, что к тебе в кочегарку зашел!
– Что делать? – он скажет и кружки достанет пустые.

Веселое дело – топить ввечеру водогрей,
Особенно для африканцев, продрогших от сыри.
Вокруг кочегарщик хлопочет, хотя и еврей,
И длинные вирши бормочет, подобно псалтыри.

Беглец палестин, и египтов, и прочих европ,
А ныне – механик российского пара и парки.
Когда б не приехал однажды на Русь эфиоп,
Не ведали б мы ни поэзии, ни кочегарки.

Однако к чему поминать о былом невпопад?
Пусть воздух колеблет крикун площадной и острожник.
Никто не затмит воронихинской ковки оград,
Никто не подделает пушкинской резки треножник.

Свивая в рулон золоченого времени холст,
Смотри, чтобы не был подсунут обрезок поддельный,
Поскольку возносится ум до заоблачных звезд,
А дерево мысли стоит вдалеке от котельной.

Но что там белеет во мгле за деревьями, бес?
И он, охмелевший, уже на любое готовый,

В мгновение ока в глухой подворотне исчез —
И тает над Мойкой испанский туман трехмачтовый.

1992

Ода на установление в Петербурге памятника чжику-пыжику, сотворенного Резо Габриадзе

Слава Богу, не ворон зловещий,
Чернолатник последнего часа,
О волшебной ракитовой смерти
Говорящий варяг Невермор,

И не мудрая птица Паллады,
Полуночная флейтщица мысли,
Чей полет через синее море
Осенен византийским крестом,

А тем паче – не огненный феникс,
Покоривший Цицарские степи
Золотой ветеран ястребитель,
Королевич о двух головах.

Нет, веселый бродяжка Колхиды,
Бубенец тридевятого царства
Удостоился бронзовой чести:
Чжик-пыжик, скажи, где ты был?

Может быть, в придорожном трактире,
Где рисует Нико Пиросмани
Виноградное красное солнце
И зеленую извинь луны?

Или в древней вардзийской пещере
На пиру кузнеца часового,
Где овчарка седыми клыками
Серебрит амиранскую цепь?

Но скорее всего в Кутаиси
На параде драконьего зуба
Ты подсвистывал песне военной,
Кахетинское пил сапогом.

И теперь о тебе, виноплясе,
На уроке росы и сирени
Гимназистки синицы щебечут:
Чжик-пыжик – кавказский орел!

А вокруг розовеют туманы,
Об утес Инженерного замка
Звонкий конь ударяет копытом
И печатает медный указ,

Что, навеки прикованный к камню,
Ты глядишь на фонтанные струи
И грустишь о далекой Колхиде,
О своей дорогой хванчкаре.

1999

Пантелеймоновская церковь

Под синим небом петербургским
Пантелеймоновская церковь,
Где слава светится морская,
Зеленый мраморник цветет,
Поют божественные арфы
О днях Гангута и Гренгама,
Когда по каменной скрижали
Идут петровские полки:
Преображенский, Вологодский,
Семеновский, Нижегородский,
Рязанский, Галицкий, Копорский,
Воронежский и Костромской.

О время золотой фортуны!
Там звезды грубого помола,
Штыков трехгранные походы,
Орлиный гром на рубежах!
А Петр глядит в кристалл подзорный
На эти пепельные марши
И ветровые слышит плачи
О невернувшихся полках:
Преображенском, Вологодском,
Семеновском, Нижегородском,
Рязанском, Галицком, Копорском,
Воронежском и Костромском.

Храни вас Бог, однополчане,
На берегах другого моря,
Штурмующих за облаками
Иной Гангут, иной Гренгам.
Под синим небом петербургским
Пантелеймоновская церковь
За вас, ушедших в небылое,
Молитву вербную творит:
Преображенский, Вологодский,
Семеновский, Нижегородский,
Рязанский, Галицкий, Копорский,
Воронежский и Костромской.

Павловск

Снится кирпичная церковь
Артиллерийской бригады,
Павловск, морозное утро,
Строй белоснежных колонн.
На пьедестале дымится
Чаша перлового счастья.
Слышится – я! – на разводе,
Гвозди печатают шаг.

А за колючей оградой —
Синяя роздымь дороги,
Где одинокая муза
Ждет не дождется меня.
Медный приказ капитана
Быть рисовальщиком молний.
Вот и моя мастерская:
Здесь я рисую грозу.

О, боевая палитра —
Смелость свинцовой окраски,
Долга трехцветная лента
Да трафаретная честь!
Я не ропщу на судьбину:
Родина всех призывает,
А политрук с пистолетом
Всех на Итаку зовет.

Вечер. Луна над оградой
Блещет солдатскою бляхой.
В гости иду к музыкантам
Пить кипяток жестяной.
Розовый флейтщик в казарме
Греет вечернюю койку:
«Здесь отдыхала когда-то
Лошадь поручика Л...».

Песню чеканю в потемках,
Что-то про Дон и про Валгу,
Бью серебро на ступенях,
Вижу невидимый сон...
Снится кирпичная церковь
Артиллерийской бригады,
Синяя роздымь дороги,
Лермонтов, Павловск, зима.

2001

Перстень

*Ты был открыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой.*

Дмитрий Веневитинов

Оснеженные розы завянут к заутрене,
Отплывает свеча за церковными рамами,
Но останется символ любви целомудренной —
Этот перстень исчезнувшего Геркуланума.

В небе синие знаки мерцали, как ясписы.
Я прощался с тобой, дорогая, желанная,
И тогда ты меня одарила по-княжески
Этим перстнем таинственного Геркуланума.

И тогда я поклялся своими святынями —
Материнскими слезами, Божьими ранами,
Что с тобой обручусь я под знаками синими
Этим перстнем таинственного Геркуланума.

Здесь, на севере, стужа сменяется стужею,
И колеблется воздух виденьями странными,
Будто бледная смерть выкрадает у суженой
Этот перстень таинственного Геркуланума.

Не излечат недуг петербургские знахари...
Так прости ты меня, дорогая, желанная,
Что я с ней обручаюсь под синими знаками
Этим перстнем таинственного Геркуланума.

Оснеженные розы завянут к заутрене,
Отплывает свеча за церковными рамами,
Но останется символ любви целомудренной —
Этот перстень исчезнувшего Геркуланума.

Рождественское чудо

В кафе мерцает синий полумрак,
Созвучный петербургскому морозцу,
Душистая табачная сирень,
Полуколючки бронзового кофе
И трепет очарованной струны,
Как будто говорящей о небесном
Томлении единственной души
Сказаться Вифлеемскою звездою,
Готовой, как и много лет назад,
Блеснуть в проеме горного вертепа,
Приотворить оснеженную дверь
И, шевельнув пастуший колокольчик,
Мерцающий наполнить полумрак
Дыханием рождественского чуда.

1997

«На небе Бог и светлая звезда...»

На небе Бог и светлая звезда —
Серебряная плошка со свечою,
Мерцающая празелень креста,
Ледок у храма, иней голубиный,
Полукривое зеркальце очей,
Где отразилась строгая любовь
И сумрачная нежность Петербурга,
Гранитная прогулка, ангел ветра,
Ростральная разлука на мосту
И огненная астра...
Эта астра —
Игольчатый ожог, парик колдуньи,
Танцующей на шабаше ночном,
Горящий уголь зрения зари,
Двойник звезды, ее сестра земная:
Меж ними есть таинственная связь,
Но никому неведомо – какая.

1998

По небу полуночи ангел летел Петербургская поэма

*Ангелы – существа живые, разумные, бесплотные, способные к
песнопению, бессмертные.*

Св. Афанасий Александрийский

Двенадцать часов

Ровно в полдень с Петропавловской крепости бьет пушка – раскалывается пополам синедымчатый воздух, звенят серебром сумрачные стекла, взмывают к облакам птицы отряда ветровых. Они летят наискосок, над синим текучим куском пространства, обрамленным гранитными вздохами берегов.

А неподалеку, за узорчатой оградой времени, под зелеными листьями дубов мамврийских, возвышается могучий бронзовый конь, извергающий неутешные искры. Гордо на нем восседает удалой всадник – правая рука по-молодецки подперла бок, левая предусмотрительно сжимает рукоять тяжелого клинка.

«Как всегда, важна идея! А здесь вот она – воплощенная идея кондовости, чисто русской кондовости! – размышляет Фуражкин, стоя в садике перед величественным монументом. – Если вдуматься, это восседает не царь-государь, нет, это восседает настоящий Илья Муромец! Как будто выехал он в чистое поле – потягаться с кем-нибудь силою. Жаль, что садик маловат – нет простора, негде разгуляться. Не место ему здесь, с такой мощью. Хорошо бы его на Пулковские высоты поставить, на оборону города вековечную».

Вдоль ограды бродят стайкой смазливые девицы – поблескивают на животах золоченые булавки и брошки, позванивают на бедрах кружевные цепочки. Тонкий юноша Бесплотных – черный костюм вороного блеска – сопровождает стайку «На площади комод, на комод – бегемот, на бегемоте – обормот», – блистает заемным остроумием юноша, указывая на памятник. Казалось бы, тут конная статуя, согласно закону двенадцатого часа, должна сойти с пьедестала и, громяхая, помчаться следом за оскорбителем. Но, конечно, никакого чуда не происходит, и юноша безмятежно удаляется в сиреневую кипень Марсова поля за щебечущей стайкой.

Безработный Фуражкин от нечего делать думает. Безысходность понуждает к философствованию. Обступающий хаос заставляет искать смысл, находить прекрасное. Безобразное бессмысленно, бессмысленное безобразно.

«На чем стоит Петербург? На болоте? Нет, Петербург стоит на зыбком смещении камня и мысли, – банальничает Фуражкин. – Вот почему гранит здесь дышит и вроде как звенит, вроде как поет на ветру. Как всегда, важна идея! Идея Петербурга – преобразить камень, напитать его мыслью. Живое окаменевает, каменное оживает – вот волшебная формула города. А хорошо бы подковать диких клодтовских коней, да и пустить четверню по Невскому проспекту! Или отпустить ангела с Петропавловского шпиля, и пусть кружит себе над Невой».

Фуражкин закрывает глаза, и светлая петербургская ночь возникает перед ним. Пылают на крепостных бастионах факелы. Огненные отблески колеблются на речной глади. А вверху, на золоченом острие, чистою слезинкой искрится ангел. Ровно в полночь внезапно срывается он с острия и медленно облетает город по кругу, пока струятся торжественные звуки и нарядные горожане, толпясь на набережных, громкими радостными криками приветствуют его.

«Алеша! – доносится откуда-то сверху голос жены Марины. – Алеша, иди домой, хватит без толку болтаться».

С досадою Фуражкин отвлекается от течения мысли и обнаруживает себя в Оружейном переулке, а рыжекудрую жену Марину – в высоком цветочном окне своего дома, крашенного желтою охрою.

«Царевна, – думает Фуражкин, запрокинув голову и вглядываясь в крупную темную родинку на ее пухленькой щеке. – Царевна-лягушка».

Сады адониса

На подоконнике жена Марина разводит цветы в расписных глиняных горшочках. Здесь золотилась диадемой китайская роза, струились зеленые русалочки пряди петунии, звенели нежными лепестками розовые церковные колокола. «Сады Адониса! – вздыхает Фуражкин, наслаждаясь цветочным ароматом. – Точно такие голубые фиалки цветут в сырых расселинах между солунских камней».

Тихая, солнечная Солунь возникает перед ним – кривые узкие улочки, высокие стройные кипарисы, белые глиняные дома, увитые змейчатым плющом. «Хочу на волшебный Восток, – шепчет Фуражкин, – хочу видеть синий изгиб Эгейского моря и огоньки рыбацких лодок в розовой роздыми. Хочу, чтобы под окном маленькой гостиной расцветал персик и на белой благоухающей ветке ворковал египетский голубь».

«Что ты там бормочешь?» – Жена Марина поливает цветы из маленькой лейки. У нее черные греческие глаза с мягким, бархатным отливом, где притаилась вечная мечта о счастье. Когда-то гордилась она своим морячком – своим Летучим Голландцем, который скитался полгода по синим морям-окиянам, а затем прилетал к ней на крыльях серафима, поднося плетеную корзину с красными яблоками и виноградными кистями, а также тугой кошелек военно-морской фортуны. Однако Летучий Голландец давно бросил якорь на тихом взморье, а корабельный гюйс выветрил запахи горькой соли, крепкого спирта и тугого кожаного кошелька. И теперь она – хитроумная особь с высшим образованием, несбывшейся мечтой и янтарным браслетом на запястье – обитает в садах Адониса, где среди стебельков королевской бегонии то и дело мелькает острое жало ее маленькой лейки. Прощай, свободная стихия!

Фуражкин говорит, что жизнь – это сказка наоборот, это тысяча и одна ночь шиворот-навыворот, это страна Кокань вверх ногами. Сказочная Василиса Прекрасная вначале была ужасной лягушкой, а потом внезапно превратилась в писаную красавицу. Иван только вначале считался дураком, а потом оказался царевичем. В действительности все происходит наоборот: писаная красавица со временем становится неким бородавчатым существом, а дурак – российским пенсионером. Но иногда природа напоминает о своей волшебной сущности. И тогда на свет рождаются лягушки с ясными человеческими чертами, как это случилось на днях в Персии, о чем сообщила мировая пресса.

С недоверием относится жена Марина ко всякой прессе, считая ее не столько источником, сколько исчадием, и потому высказывает сомнение: «Не кажется ли тебе, что это обыкновенная утка?». Но Фуражкин настаивает, что это никакая не утка, а самая настоящая лягушка.

Информационное сообщение Би-би-си (Великобритания)

Жительница иранского города Иранишехр родила лягушку. Правдивая история о необычном, можно сказать, сказочном инциденте опубликована в иранской газете «Etemaad».

Предполагается, что лягушка выросла из личинки в организме женщины. Как это могло произойти, пока не ясно. Газета цитирует специалистов по клинической биологии, которые утверждают, что у лягушки наблюдаются черты, характерные для людей. В частности, издание приводит слова доктора Аминифарда, что форма пальцев, языка, а также его размер у лягушки напоминают человеческие. По мнению ученых, личинка попала в организм женщины, когда та купалась в грязном водоеме.

В истории медицины бывали эпизоды, когда люди верили, что в их телах живут лягушки, ящерицы и даже змеи. Один из наиболее знаменитых случаев датируется XVII столетием: жительница Германии Катарина Гейслерин была известна тем, что ее «рвало жабами». Когда в 1662 году она умерла, врачи вскрыли ее тело, но не нашли никаких свидетельств, что там водилось какое-либо животное.

Жена Марина молча слушает, покачивая головой и ошипывая пожухлые листья вербены. В конце концов, закулив сигаретку и выдохнув голубое облачко дыма, иронически замечает: «Да жаба ее душила, вот и все чудеса!».

Самоварная дырка

В ту замечательную весну, двенадцатую от начала свободы, припорошен был город душистым сиреневым смогом, брызгами праздничного шампанского и серебристыми юбилейными значками, украшавшими стеклянные витрины кафе, запыленные борта петербургских трамваев и узкие лацканы молодых чиновников – преуспевающих менеджеров личного и общественного счастья.

В ту замечательную весну внезапно осознал Обмолотов горькую истину, что до конца, до смертного часа своего, будет числиться по разряду «вчерашних». С грустью-печалью вспоминал он озорное прошлое свое, когда веселое застолье было его трудом, беспечный сон был его работою, беззаботная любовь была его свободою. Эх, сказочная жизнь союзная была – не бей лежачего!

Вот сидит Обмолотов, будто каменный, на кухне своего коммунального бытия, где расцветает на плите голубой цветок природного газа. В руке дрожит кофейник бессонницы, в голове дрожит дурацкая мысль о старухе процентщице и зазубренном топоре Родиона Романыча. Столько лет просидел на кухне Обмолотов, ожидая призыва на счастливый ток жизни, а недавно окончательно понял: не будет призыва, не дадут ему места лежачего на том бурном весеннем току Просыпаться надо, воскресать.

Обмолотов неторопливо перебирает в памяти события последней недели, когда от нечего делать слонялся по городу и столкнулся случайно со своим однокашником Иконниковым – по школьному прозвищу Икона. И похвастался ему Икона, что теперь он – знаменитый собиратель вещей утраченного времени. И показал цветастый журнал, где демонстрировались его гениальные творения – грузная, продавленная раскладушка с привинченной табличкой «Сон Сталина» да дряблая резиновая клизма с наклейкою «Ударница коммунистического труда». И, прощаясь, сказал Икона: «Главное – дать вещи новое имя, и тогда засияет она иным смыслом, иным блеском. Вот тогда можно будет ее пропиарить и продать задорого, особенно иностранцам. Так что не будь кретином, будь креативным, Вася!».

«Шулер, – подумал Обмолотов, – прохиндей, проныра, гопник. Но надо жить, надо изучать новый язык, надо менять мировоззрения. Иначе пустота ждет, безмолвие ждет, смерть».

На следующий день притащил Обмолотов в мастерскую Иконы обшарпанную тумбочку великой эпохи. Ее ценность заключалась в том, что когда-то громоздился на ней районный бюст вождя. Заодно предложил половичок черной ночи, о который вытирал хромовые сапоги участковый милиционер. А напоследок вынул из кармана сгоревшую лампочку накаливания и таинственно сообщил, что под тусклыми лучами этого светоча свободы будто бы читалась запрещенная литература. Но отверг Икона предложенные вещи как неубедительные.

«Понимаешь, – развел художественными руками, – нет здесь никакой фишки, никакой изюминки. Половичок с тумбочкой в каждой избушке есть, лампочка светила не только над Солженицыным, а для пиара требуется что-нибудь этакое».

И вот сидит Обмолотов на кухне своего коммунального бытия, придумывает «этакое-раз-этакое». Блуждает взор от плиты до кособокой раковины, от кособокой раковины до плиты, между которыми зияет старое дымоходное отверстие для самовара, густо засиженное рыжими тараканами. «Да что ж ему, прохвосту, продать? – покуривает Обмолотов. – Эту дырку, что ли?»

Год мракобесия

Тонкий юноша Бесплотных возвращается с прогулки. Проходит мимо кухни в темную комнату свою и зажигает настольную лампу – ее стеклянный купол покоится на железной конструкции, напоминающей семиструнную лиру барбитос. Теплый свет вечерний озаряет книжные стеллажи да иконы, сосредоточенные над столом. Золотом светятся божественные лики – Николая Мирликийского и Георгия Каппадокийского, Димитрия Солунского и Иисуса Сладчайшего, просиявшего в четырех концах земли. А там, на стеллажах, книги сияют золочеными торцами – церковная история Евсевия Памфила, собрание духовных писем Игнатия Брянчанинова, небесные творения Дионисия Ареопагита.

Но отодвигает в сторону юноша Бесплотных священные фолианты, достает с полки старинную книжку заветную и ложится на диван, укрываясь шерстяным шотландским пледом. Читает он на титульном листе предостерегающий эпиграф из Апфологиона 1643 года: «Молим со умилением, аще какая неблагоискусная и неблагостройная словеса в книге сей обрящутся, не осуждати и не поносить люботрудящихся». Обращает внимание на необыкновенное место, где отпечатана книжка. Это остров Валаам – гранитный ладожский утес среди страдания волн, где вознеслась к небесам древняя обитель духовного поиска и делания. И, наконец, отмечает зловещее время книгоиздания, указанное на титульном листе – это не какое-нибудь лето от Рождества Христова, обозначенное церковнославянским исчислением. На тряпичной бумаге оттиснуты апокалипсические слова – *год мракобесия*.

«Подделка! – Юноша Бесплотных протирает запотевшие от волнения очки. – Жаль, что не указана точная дата, когда эта подделка изготовлялась типографским искусством развеселой братии. Наверняка это случилось Первого мая – в праздник сатанинского разгула и полета на метлах».

«Однако как близко все-таки вера соприкасается с Эросом, – думает юноша, перелистывая заветную книжку, – как близко все-таки она подходит к магнитному полюсу человека, где все стороны света одинаково вращаются и нет никаких указателей, а есть лишь одна любовь, восстающая вверх, к сполохам божественного сияния, к бессмертию. Здесь надо поставить точку, воткнуть деревянный шест оправдания, пронзить осью любви и землю, и небо».

Время от времени юноша Бесплотных подумывал поступать в Духовную семинарию, на Обводном канале расположенную. Его прельщал монашеский обет безбрачия. «Прожить жизнь в чистоте лучезарной, – грезил он, – и познать лишь божественную любовь – вот истинный подвиг духовный, вот кроткое призвание небесное».

Но чем больше грезил он о непорочном служении своем, тем больше разгорался и томил его аленький цветок любострастия. Это было испуганное желание все-таки познать земную любовь, но так, чтобы об этом никто не узнал – ни отец с матерью, ни друзья насмешливые, ни даже она, которая согласится подарить ему мгновенную ночь. Хорошо бы сотворить это в маске шутовской, козлотородой, и потом сбежать под раскатистый хохот и звон бубенчиков: «А что было? А не было ничего!».

Сказка о пастухе

Жил-был пастух. Многие молодые женщины хотели полюбить его, да не всякой удавалось. Вот и разнеслась молва, будто застукали пастуха на сивой кобылице. Стали

всей деревней насмеяться над пастухом. Одна красная девица особенно потешалась. Бывало, поутру гонит скотину и кричит: «Смотри, Иван, стереги мою кобылку!». А тот помалкивает да на ус себе мотает.

Однажды пошел пастух к старой колдунье, которая жила на краю деревни, и рассказал про свое горе. «Хорошо, говорит старуха. – Приходи в сумерки». Вечером пригнал он с поля стадо, пришел в избушку и спрятался за печкою.

Зазывают бабы скотину домой. Красная девица тоже вышла на улицу. Увидела ее старуха и закричала в окошко: «Пойди сюда!». Девица прибежала, а та давай браниться: «Смотри, станешь каяться, да поздно будет». Испугалась девица, не знает, какая вина за нею. «Экая ты дура! – удивляется старуха. – Прыгаешь через канавы, как попало! Гляди, что наделала – честь свою испортила! Кто тебя теперь замуж возьмет?» Красная девица умоляет похлопотать, поправить как-нибудь дело. А колдунья ворчит: «За все про все отвечай бабушка! Делай, что я скажу, да терпи, хотя и больно будет. Высунься в окошко и чур не оглядывайся, иначе все дело пропадет».

Заворотила старуха ей сарафан и махнула пастуху. Иван подкрался тихонько, достал из портков свой хобот вместе с бубенчиками и начал подправлять девичью честь. «Ну что, хорошо?» – спрашивает старуха. «Хорошо, бабушка! – отвечает девица. – Еще поправь, бабушка! Я тебя никогда не забуду». Закончил свое дело пастух и спрятался за печку.

На другой день погнала красная девица скотину и опять стала дразнить пастуха кобылою. А тот ей в ответ: «Хочешь, я честь тебе поправлю?». Девица язычок так и прикусила.

«Какие замечательные старушки жили в русских селеньях! И девушки замечательные тоже! – вскакивает с дивана юноша. – Какая глубокая мысль о непорочном зачатии, когда она просто-напросто не знает об этом! Когда знает, тогда нет святости, нет чуда. Если бы он не сказал, не поведал, она бы осталась в неведении, в незнании, а значит, в безгрешности. Она осталась бы Евой до разговора со Змеем, до вкушения плодов добра и зла с дерева познания. А какой восхитительный образ – хобот с бубенчиками! Это же какой-то карнавал шутовской! Какая-то мистерия дионисийская! Шембартлауф нюрнбергский! Это же не хобот – это хохот над незнанием знания! Нет, господа академики, никогда, никогда не поверю я вашим стыдливым заверениям, что хобот – это всего лишь змеиный хвост».

И ходит возбужденно по комнате юноша, и хлопает в ладоши радостно, и песенку любимую напевает:

«Во саду ли, во зеленом садочке
Гуляла душа красная девица.
Завидел удалой добрый молодец:
“Не моя ли то жемчужинка катается?
Не моя ли то алмазная катается?
Я бы ту жемчужинку проалмазил,
Посадил бы на золотой свой спеченик,
К яхонтам, двум камушкам, придвинул”».

И падает косой луч в дальний угол комнаты, на странную композицию настенную, где два нежных лика светятся на листе серебряной фольги, за которой угадывается иная земля, иное небо.

Имя дырки

Выходит из мрака утренняя заря с перстами пурпурными, поют на перекрестках сирены милицейские, кричат чайки над невскими водами. Завершает Обмолотов свой труд ночной, достает из тумбочки красную папку с виньетками, складывает туда исписанные бумаги.

Всю ночь сочинял Обмолотов историю самоварной дырки. Для начала определился с местом и временем рождения детища – предрассветный час в городе на Неве. Определился и с отцом-матерью – это был, собственно, сам Обмолотов, родивший идею дырки из своей могучей головы, как некогда Зевс богиню мудрости. Оставались сомнения насчет самобытности, поскольку дырка оказывалась двойником прославленной картины Каземира Малевича в виде черного квадрата. Бог весть, какими жуткими фантазиями была та напичкана – иные обнаруживали там целый архипелаг, огражденный звездно-колючей проволокой. Но, с другой стороны, Обмолотов слышал, что один прозорливый олигарх приобрел картину за баснословную сумму, и в уме прикинул: «А чем моя дырка хуже? Такая же бесконечно пустая. Неужто она не имеет права на счастливую участь?».

Затем приступил Обмолотов к сотворению имени самоварной дырки, памятуя, что имя – это судьба, что в имени содержится тайный смысл всего, что от имени зависит благополучие и фортуна. Какая, к примеру, может быть фортуна у Макриды или Фетиньи? Поэтому отнесся Обмолотов к выбору имени и фамилии дырки обстоятельно и набросал на листе следующие слова:

1. Дырка.
2. Пустота, ничто, бесконечность, тьма.
3. Взгляд самурая.
4. Подарок губернатора.
5. Зуб Садама Хусейна.
6. История СССР.
7. Софья Казимировна.

По сердцу пришлось Обмолотову лишь последнее имя, оттого что была великомученица София Римская матерью Веры, Надежды, Любви, а ничего Обмолотову в жизни не оставалось, как только верить, надеяться и, по возможности, любить. «Я буду тебя пестовать и лелеять, – весело приговаривал он. – Я буду тебя холить, как розу благоуханную. Я буду молиться на тебя, как на икону. Ты – мой священный алтарь, мой неиссякаемый рог изобилия».

Так трудился всю ночь Обмолотов, радуясь, что вот из ничего рождается нечто – какая-то история, какое-то художество, какой-то живой факт. Выискивал в разных книгах мудрые мысли, касающиеся самоварной дырки и дырки вообще. На одну бумагу записал старинную загадку про самовар: «В небо дыра, в землю дыра, посреди огонь да вода». На другую бумагу записал народную поговорку: «Бог даст денежку, а черт дырочку, и пойдет Божья денежка в чертову дырочку». А на третью – крученые стихи «дыр бул щыл» и научное определение дырки, которая, как оказалось, «есть понятие постмодернистской философии, фиксирующее парадигмальную презумпцию постмодернизма на восприятие семиотических сред как самодостаточной реальности». Загадочное слово «постмодернизм», о котором вдохновенно говорил Икона, подчеркнул огрызком жирного карандаша с надписью «creative» и чуть не поцеловал.

Наконец сложил Обмолотов исписанные бумаги в красную папку с виньетками и позвонил Фуражину:

«Как ты думаешь, сколько стоит дырка?»

«Нисколько!» – отвечает Фуражкин.

«А если это не обычная дырка, а Софья Казимировна Дырка – парадигмальная, понимаешь, презумпция постмодернизма?»

Привет от Ньютона

Все смешивается в доме Фуражкина, когда какой-нибудь остолоп ни свет ни заря звонит по телефону с идиотским вопросом или подпившие гуляки спозаранку в дверь барабанят:

«Открывай, Фуражкин, это мы пришли».

«Кто это – мы?» – пищит чужим фальцетом хозяин, пытаясь ввести гуляк в заблуждение.

«Как кто? – не поддаются на уловку незваные гости. – Мы – это Мы».

Приходится открывать дверь и впускать, предупреждая на пороге:

«Тише, вепри калидонские, жену не разбудите».

Вламываются Поребриков и Бордюриков, требуют настойки перченой, грудинки копченой, брусники моченой. А опрокинув по рюмке, начинают потчевать хозяина разговором.

«Юбилей грядет», – мрачно пророчествует Поребриков.

«Да, приближается праздничек», – похрустывает малосольным огурцом Бордюриков.

«Нашествие предстоит», – вдругорядь разливает перцовочку Поребриков.

«Блокада ленинградская», – стучит вилкой по тарелке Бордюриков.

«Эвакуироваться, что ли, из Питера? Покинуть обитель невскую?» – задумчиво поднимает полную рюмку Поребриков.

«Бежать! – ухает опорожненную рюмку Бордюриков. – В Москву! По стопам братьев и сестер».

Здесь Поребриков останавливает торжественный процесс пиршества и выразительно смотрит на Бордюрикова, как будто тот сказал что-то неприличное: «Единогубейный мой, там и без тебя тошнит от питерских!».

«Надысь, – подстраивается Фуражкин под Поребрикова, желая сгладить возникшую неловкость, – надысь я слышал, как столичный цицерончик Дзе поносил по телевизору питерский юбилей: слишком много денег, мол, выделяется из казны на благоустройство города. Это напомнило ему анекдот о прожорливом суслике. Идет заседание правления колхоза. В прошлом году, говорят, мы засеяли 150 гектар ячменя, и весь пожрал суслик. В этом году, говорят, мы засеем 300 гектар. Пущай подавится. Ха-ха-ха. А потом этот цицерончик Дзе заявил: из разных компетентных источников ему доподлинно известно, что питерский губернатор миллиард казенных рублей будто бы зарыл в траве-мураве, спрятал в кустах, в каких-то парках».

«Ба! – усмехается Бордюриков. – А я и не знал, что губернатор работает под Буратино. Вот молодец! Завтра весь Питер с граблями и лопатами отправится на субботник».

«Ничего смешного, – отходит душой Поребриков. – Небось, в том голубом эфире сенатора Киргиз-Кайсацкая разглагольствовала? Небось, говорила, что слух о торжествах пронесся от Москвы до самых самураев, что на невские берега придут всякие короли да принцессы, одинако привечать их будет не Сам, достойный похвал, а какой-то казнокрад».

«Было, было, – соглашается Фуражкин. – Хотя, правду сказать, питерские губернаторы всегда отличались от московских вельмож. Вон того же Меншикова беспрестанно обзывают казнокрадом, взяточником, жуликом, а на самом деле он был умницей, он был книголюбом – первым на Руси британским академиком. Кстати, по предложению небезызвестного Ньютона».

«Как это? Ведь он ни читать, ни писать не умел», – недоумевает Поребриков. А Бордюриков, подняв кверху указательный палец, назидательно произносит:

«Свой – он и в Англии свой».

Письмо президента Лондонского Королевского общества Исаака Ньютона

Достопочтеннейшему господину Александру Менишкову, первому в советах царского величества, Исаак Ньютон шлет привет.

Поскольку Королевскому обществу известно стало, что император Ваш с величайшим рвением развивает во владениях своих искусство и науки, что Вы служением Вашим помогаете ему в распространении хороших книг, постольку все мы исполнились радостью, когда английские негодяи дали знать нам, что Ваше превосходительство по высочайшей просвещенности, а также вследствие любви к народу нашему желали бы присоединиться к нашему обществу. Услышав про сказанное, все мы собрались, чтобы избрать Ваше превосходительство, при этом были мы единогласны. Будьте здоровы.

«Памятник Данилычу ставить надо, – подытоживает Фуражкин, – как первому авторитету в России. Он всюду первый – и как питерский губернатор, и как британский академик, и как опальный олигарх, скончавшийся в Березовских болотах».

«Вот я и говорю, что нашествие предстоит, – пророчествует мрачно Поребриков, – памятников».

«Хохлы, разумеется, бюст кобзаря преподнесут, – кивает головой Бордюриков. – У них, кроме несчастного кобзаря, нет никого. Скоро вся Европа запоем под хохляцкую бандуру».

«Нравятся мне японцы – какой тонкий народ! – мечтательно вздыхает Фуражкин. – Они как будто на юбилей цветочные часы собираются презентовать».

«Ну да, – подначивает Бордюриков, – чтобы наши трескучие морозы отсчитывали».

«Интересно, а что подарит петербуржцам Москва?» – внезапно вклинивается в застольную беседу жена Марина, явившаяся из райского утреннего сна. И все трое, не сговариваясь, отвечают таким дружным хором: «Ленинградское дело, что ж еще!».

Вакханка

Возвращается Бордюриков из Москвы в загадочном сумраке лунном и прямым с ночного вокзала направляется к Поребрикову в экспериментальный ботанический сад. «Здравствуйте, священные пальмы и милые смешные обезьяны, – обнимает приятеля, сторожащего хрупкий стеклянный уголок флоры. – Вижу, вижу, страдаете без меня, горюете, засыхаете на корню».

На дежурном столе расстилает Бордюриков столичную газету с картинками и рекламками всех цветов радуги, тучек и бабочек, достает кристальную бутылку, сияющую кремлевскими звездами: «Выпьем за дорогую нашу столицу! Ой, дорогую, дорогую! Любовь ее – денег не хватает!».

Звенят стаканы курантами.

И вот засыпает Бордюриков на диване под широколистным фикусом. И снится ему странный, диковинный сон, как в горних сферах звучит завораживающая музыка, посреди пустыни высится хрустальная пирамида. И светится огонек в ее таинственной глубине, где сидит скучающий Поребриков, прилежно изучает расстеленную на столе газету – с радугами, тучками и бабочками. И вот натывается Поребриков на объявление владычицы венков и девичьих хороводов, предлагающей провести незабываемую ночь сладострастия с юною жрицей любви. «Давненько, – облизывается он, – давненько не слышал я чудесных песен». И звонит Поребриков по указанному телефону, выясняет стоимость незабываемой ночи, а там, на другом конце телефонного провода, обладательница томного голоса неожиданно соглашается тут же прилететь и разделить скромную трапезу и ложе – без оплаты, в порядке нежной рекламной акции.

Когда Бордюриков проснулся, то застал в экспериментальном ботаническом саду необычайное зрелище: в лучах мистического лунного света, среди священных пальм и фикусов, разъяренная голая бабища, сверкая мощными бедрами, носилась за несчастным Поребриковым и требовала повторения страстной любви и ласки. «Сгинь, окаянная! – заклинал измож-

денный Поребриков. – Черт бы тебя побрал!» Но та еще больше распалаялась и продолжала преследовать страстотерпца.

«Сейчас вопьется и всю кровушку высосет!» – с ужасом подумал Бордюриков и бросился спасать положение. Он возник перед оторопевшей бабищей, как лист перед травой: «Извольте покинуть служебное помещение!». Потух огонек во глубине, замолкла музыка сфер. Бабища обмякла, нехотя накинула на плечи пелеринку пушистую и, склонив потрепанную гриву, вышла за железные ворота сада, испещренные веселыми народными надписями.

«Друг мой, – слегка любопытствует Бордюриков, – где ты нашел эту вакханку?»

«По объявлению, уф-ф, в твоей газете, – тяжело дыша, отфыркивается Поребриков. – Хотел испытать незабываемую ночь. Вот и позвонил».

«Ты все перепутал, – смеется Бордюриков. – В московской газете печатают номера московских телефонов, а ты куда звонил? Не могла же она за полчаса из Москвы прилететь, разве что на помеле».

И осеняет Поребрикова догадка, что действительно перепутал он столицы – бывшую и нынешнюю, мнимую и настоящую, перепутал этот свет и тот, находящийся за тридевять земель, в тридевятом царстве:

«Боже мой! А я уж хотел *туда* с жалобой обратиться, почему вместо юной красотки какую-то старую ведьму прислали!».

По Песочной набережной идет Фуражкин задумчиво. Нева лежит темным куском, изредка поблескивая огненными змейками. Трудовой буксир, окольцованный автомобильными покрывками, выплывает на волнах африканский танец. Вдалеке зеленеют острова, с роскошными резиденциями, алмазными фонтанчиками, гранитными ступенями к воде. Вода меняет цвет – то дождевое облако набегит с Ладоги, то снова заиграет бледное солнце на закате, то разверзнется за дивными отражениями черная глубина.

Фуражкин идет к Фуражкину.

«Жил-был человек, – грустит он. – Его звали Фуражкин. Жил он, радуясь своему негромкому счастью, своей незаметной неповторимости. Жил тихо, наслаждаясь единственной жизнью и единственным именем. Своего двойника видел только в зеркале – отраженным, небритым, косматым. И вот в одно прекрасное утро звонит некто и говорит: здравствуйте, я – Фуражкин, и вы – тоже Фуражкин. Какая неожиданность, правда?»

Стихи, сочиненные во время хождения по Песочной набережной

А там, где течет роковая река,
Однажды двойник повстречал двойника.

И вот двойника вопрошает двойник:
«Почто ты живешь в Петербурге, старик?»

Живи в Волгограде, живи в Костроме,
В Москве, если можешь и если в уме.

Хорош Выдропужск и Урюпинск пригож.
Почто ты, старик, в Петербурге живешь?».

И тут двойнику отвечает двойник:
«Я к этому городу с детства привык.

Я с детства влюблен в идеал красоты,

В симфонию камня и дерзкой мечты».

И так говорили себе двойники,
Идя, отражаясь в реке, вдоль реки.

И вдруг перед ними разверзлась река,
Жерлом поглотив двойника двойника.

Дом Художника изнутри напоминает древнеегипетский храм эпохи великого Джосера – вдоль нескончаемых стен алебастровые глыбы громоздятся могучими рядами. Статуи обернуты пленкою прозрачною, присыпанной пылью забвения, и перетянуты пожелтевшей бечевой, отчего кажутся исполинскими мумиями, забальзамированными еще жрецами Анубиса. Гипсовые лики удивительно похожи друг на друга.

«Здесь должны рождаться египетские мысли. Здесь должны ваяться сфинксы, высекаться скарабеи и петься солнечные гимны, – воображает Фуражкин. – Правда, здесь повсюду только монументы одного и того же фараона, еще почивающего в Ступенчатой пирамиде на Красной площади. Но мы много лет жили в Египте».

Фуражкин уже священнодействует над жаровней – на чугунной сковороде растапливает сало с нежными прожилками розовыми, обжаривает крупные кольца лука до цвета золотистого, нарезает ломтики сырого картофеля и высыпает на скворчащую сковороду. «Своя картошечка, деревенская, – причмокивает, – и салыце тоже свое, молодое».

Горячий жирный запах струится к стекольчатому небу мастерской, обволакивает хрупкие статуэтки античных Афродит, оседает на львиной мордочке египетской статуи. «Жрец пластического искусства! Оракул монументальной пропаганды! – подтрунивает Фуражкин над Фуражкиным. – Ваши божественные изваяния, видать, привыкли к запаху жертвенных шкварок».

На антресолях, куда вьется крутая деревянная лестница, накрыт для пиршества стол – старый графин с надтреснутым горлышком, чашки китайской синевы, фарфоровые тарелки с зеленью, белое фаянсовое блюдо с яблоком. На полках пылятся самовары медные – этнографическая страсть Фуражкина.

«Этот, с поломанным краником, – показывает хозяин, – достался от бабки, а тот – нашел на свалке загородной. Я сувенирных самоваров, из нержавеющей стали, с электрическими спиралями, на дух не переношу. У меня здесь только подлинные самовары, пропахшие дымом Отечества. Настоящий чай мастерится на водах родниковых, на шишках сосновых, под свистящий парок, под белый ключ. В городе такой чай не сварганишь».

«У моего приятеля на кухне есть дымоходное отверстие для самовара, – ни с того, ни с сего говорит Фуражкин. – А самовара нет, выбросил».

«Ну и дурак! Гонял бы чай да в ус не дул».

Яблоко

На белом фаянсовом блюде необыкновенное яблоко – крупное, золотое, напоенное чистым солнечным светом, прозрачное до семечек, темнеющих в лучистой сердцевине. Оно пахнет душистой прелью натрудившейся земли и воздухом медового настоя. «Такие яблоки бывают только в Эдеме», – вспоминает Фуражкин.

Его полк покидал селение Атуры, раскинувшееся у подножия святой горы Этерн. «Сюда нисходили пророки и запретили нам воевать», – говорил чеченский комендант. Действительно, со стороны селения не прозвучало ни одного выстрела – дни стояли светлые, с синей роздымью по краям, а ночи были тихими, звездными. Лишь однажды над Атурами пронесли крылатые

ракетоносцы, с громом низвергая на землю огненные стрелы. Некоторые дома запылали, и черный дым несчастья пополз по печальным склонам.

По утрам комендант приходил к блокпосту, приносил солдатикам чистой воды и белого пшеничного хлеба. Хлеб был теплым, хрустящим. Комендант спрашивал, не нужно ли чего-нибудь. «Да нет, отец, спасибо», – улыбались солдатики, разламывая хлеб. Комендант несколько минут нерешительно топтался на месте, будто собираясь еще о чем-то спросить, а потом медленно направлялся к комендатуре. Комендатура располагалась в школе, а сам комендант до войны был местным учителем.

Иногда он брал с собой Ису – веселого цыганистого подростка, который помогал нести продукты. Во время той злосчастной бомбежки, когда в селении сторела треть дворов, Иса был ранен осколком в плечо. Рана быстро затянулась, но левая рука действовала плохо, и подросток, согнувшись, волочил мешок на загривке. Пока солдатики делили хлеб, Иса разглядывал оружие, уважительно поглаживал приклад:

«Хороший калаш!».

Солнце поднималось из-за святой горы, когда колонна двинулась в путь. Фуражкин находился в арьергарде, с двумя офицерами связи. Дорога была ухабистой, в рытвинах и воронках, и машина тяжело переваливалась с боку на бок. Офицеры подтрунивали над Фуражкиным: «Эй, Питер! Не укачивает?». Фуражкин посмеивался, изредка отвечая зубоскалам: «Ну что с вами, сухопутными лягушками, разговаривать? У вас даже кортика нет».

Уже проехали небольшое поле, полыхающее желтыми подсолнухами, и на обочине зазеленели сады. Ветви яблонь струились, ниспадая к земле большими, сочными гроздьями. На земле кое-где золотилась первая опадь. Густая дорожная пыль, поднятая машиной, клубилась в воздухе и медленно оседала на кустарники, откуда сухим горохом внезапно рассыпалась автоматная очередь. Пули прошли брезент, натянутый над кузовом. В рваные отверстия брызнули острые лучики и звонкие, мальчишеские выкрики: «Алла акбар! Алла акбар! Алла акбар!». Машина ткнулась в кювет, и Фуражкин выпрыгнул на обочину.

Он пробежал несколько шагов, упал под раскидистой яблоней вниз лицом. Слышал, как пули шелкали по веткам и шуршали падающие листья. Фуражкин приподнял голову – над святой горой Этери, окутанной синеватой дымкой, медленно всходило солнце, и его резкие, стремительные лучи пронзали горную долину, пронзали зеленые сады, пронзали крупное золотое яблоко, лежащее перед ним. Мерцающая яблочная мякоть была так насыщена медовым светом, что казалась прозрачной, лучистой, сквозной. И темные расплывчатые семечки, затаившиеся в ее сердцевине, обещали поведавать сокровенную тайну вечной жизни и любви.

«Такие яблоки бывают только в Эдеме», – подумал Фуражкин. В последний раз рассыпался свинцовый горох, и мгновенные яблочные брызги ослепили Фуражкина. Невидимый стрелок попал в яблоко.

«А ведь это был Иса!» – догадался Фуражкин.

Родословная

Заполночь беседуют Фуражкин с Фуражкиным о своих глубоких корнях патриархальных, пытаются выстроить генеалогическое древо, похожее на зеленую веточку жизни или горох, выющийся к небу. Вспоминают семейные истории – трагические и комические, но всегда – причастные общему русскому космосу.

«Велимир Хлебников, – рассказывает Фуражкин, – последние дни свои жил в глухой деревеньке новгородской – Санталово. Там и умер, там и был похоронен на кладбище, под елями. Дед мой как раз из Красной Армии вернулся, а тут – покойник. Нехорошая примета. Покойник-то всегда одним глазом глядит – другого высматривает. А дед мой был по натуре художником-безбожником, все частушку пел:

“Эх, пить будем,
Гулять будем,
А смерть придет —
Помирать будем!”.

Однажды до того догулялся-допелся, что подрался с мужичками, да не простыми, а партийными, и засадили его в узилище в православном городе Крестцы. В узилище – пока суд да дело – ему поручили вести тюремную бухгалтерию, поскольку владел счетом и знал арифметические правила. Стал добросовестно начислять зарплату тюремщикам. В конце концов ему так доверились, что разрешили без конвоя за зарплатой сходить.

Возвращается он в узилище, портфельчик с деньгами под мышкой несет и вдруг встречает на улице односельчан. Ясное дело, завернули в кабак, выпили за встречу, потом еще. Распетушился дед, расхвастался: это, мол, тюремщики за решеткой сидят, а он – вольная жар-птица, сам по себе летает. Над ним, дурачком, посмеиваются: у жар-птицы были перья золотые, а у тебя – одни вши гнидые в кармане. Тут бухнул он портфельчик на стол и давай голь кабацкую угощать – всех лапотников, всех балахонников:

“Эх, пить будем,
Гулять будем!”.

Очнулся уже в узилище – ни портфеля, ни денег. Тюремщики злые, как янычары, отмерили тогда ему по полной мере. С тех пор как под землю провалился – ни слуху о нем, ни духу, Так и сгинул в полной неизвестности».

Тут параллельно выясняется, что предок другого Фуражкина в молодости занимался в студии художника Михаила Матюшина, к которому не раз заходил с корзинкой своих гениальных творений тот самый Хлебников – бледный, молчаливый, восхищающий степной дикостью голубых очей. В архиве семейном сохранились солнечные, в духе ларионовского «лучизма», акварели юноши Фуражкина, позднее замерзшего в блокаду на берегу ледяной Невы. А где-то в альбоме, на оборотной стороне фотографии, тускнели выцветшими чернилами его стихи, посвященные возлюбленной (потом вдове до конца жизни мерещилось, что это он с неевского берега зовет ее: иди, мол, кончилась зима, и ладожский лед уже проходит):

Ты приезжай: еще не поздно.
Дорога, к счастью, близка.
Я обещаю светлый воздух
И ренессанс березняка.

Здесь переходы – перелески
Под зеленеющей звездой,
И местный грач, как Бруннелески,
Возводит над окном гнездо.

Пора гнездовий и созвездий!
И сладко слушать у ворот,
Как где-то на речном проезде
Шумит последний, темный лед.

«Вот видишь, – говорит Фуражкин, захмелевший от одиночества, – новгородская земля породнила нас, соединила нас печальная звезда Хлебникова, сковала память смертная о наших близких».

«Ну да, – горько усмехается в ответ Фуражкин, – все мы родились по ту сторону города Ростова, по сю сторону Рождества Христова, за две недели от Новгорода».

Телефонная интермедия

«А где Владимир Владимирович?»

«Уехал. В Рамбове живет».

«Что делает?»

«В порту кочегарит».

«А еще?»

«Мемуары строчит».

«И все?»

«Нет, еще металлолом собирает».

«А это зачем?»

«Памятник хочет поставить».

«Неужто себе?»

Цудзугири

Становится в городе модным нечто восточное, китайское или даже японское. В старинном Бомбардирском переулке ресторан «Волховские огни» переименовали в суши-бар «Токийские свечи», и светловолосый славянский отрок, одетый в самурайское платье, приветствует входящих гостей поклоном и японской здравицей, которая русскому уху слышится как «коси, коса».

Приходят в суши-бар интеллигентные девушки – спортивные маечки с травянистыми разводами, карминными розочками и жемчужными блестками на груди, узкие бордовые джинсы со сталистыми пуговицами на поясах – заказывают изысканные яства и воркуют, как райские птички, взмахивая тонкими палочками над прозрачными фарфоровыми чашечками.

«Он – что-то типа философа и все время долдонит мне про Змея Горыныча, – щебечет девушка. – Оказывается, Змей Горыныч – это вовсе не дракон, а самый настоящий мужлан».

«Фу, Ксения, какие глупости, – фыркает подружка. – А кто отец твоего Змея Горыныча?»

Проходит мимо суши-бара Обмолотов, косится завистливым глазом на интеллигентных девушек, воркующих за столиком, на двух солидных пузанчиков (это были Воробьевъ и Орлов), за соседним столиком разливающих горячее саке из глиняных кувшинчиков, на светловолосого отрока, переминающегося с ноги на ногу при стеклянных дверях, и сплюнет аккуратно в металлическую урну:

«Лиона мать!».

У знаменитого перехода на Невском проспекте еще недавно приторговывали бедные петербурженки, предлагая прохожим лопухого щенка шотландской овчарки, оранжевый томик Антуана де Сент-Экзюпери или невзрачный полевой букетик, благоухающий синим ароматом утренних электропоездов. К юбилею исчезли петербурженки, и только украдкой сидит на стылой панели одна молодая женщина в малиновом платке, пестрой кофте и длинной черной юбке, одной рукой прижимает к груди спящего младенца, закутанного в лиловые лохмотья, а другой – просит милостыню. Она сидит неподвижно, не произнося ни слова, молитвенно наклонив голову и пряча печальные глаза. Это – таджикская беженка.

Обмолотов и здесь сплюнет, но уже не в металлическую урну, а свободно – на панель, мощенную звонкой четырехгранной плиткой. И станет поблизости, у сияющей витрины кафетерия, изучая названия дорогих блюд и шипучих напитков. А потом отвернется от зеркального соблазна и, поджидая опаздывающего благодетеля, машинально прижмет к груди красную папку с виньетками.

Объявлена была борьба с бедностью, и Обмолотов размышлял о путях ее неисповедимых. Например, есть самурайский путь, о котором мало кто знает, но Сам, в совершенстве владеющий боевыми искусствами Востока, знает наверняка. Это путь истинных рыцарей чести, способных хладнокровно распороть свой живот перочинным ножом и выложить на противень сизо-алые потроха. Однако харакири является священным долгом и почетной обязанностью воителей духа, а не рядовых граждан.

Между тем, креативничает Обмолотов, помимо харакири есть еще цудзугири, о чем предумышленно умалчивают журналисты. Эта традиция уходит в незапамятные времена и связана с таким древним ритуалом, как испытание мечей. «Оружие в ножнах ржавеет», – учила японская мудрость, поэтому непрерывная проба клинка на прочность позволяла самураю быть всегда готовым к бою. Это испытание осуществлялось на живых телах оборванцев и попрошайек, при этом разработана была целая иерархия ударов. Самым простым считался содэ-сури, когда мгновенно отсекалась рука, протянутая за подаянием. А самый сложный удар, помнится, показал самурай Яmano Нагасиха, который перерубил одним махом сразу двух бродяжек. Этот подвиг он увековечил золотой надписью на хвостике клинка. Таким образом, цудзугири является уникальной технологией борьбы с бедностью. Остается только написать инструкции и вооружить наших борцов японскими мечами, хорошо бы мечами кото, обладающими отличной пружинистостью.

В переходе появляется Икона – черное кепи надвинуто на лоб, черная сумка, изрезанная блестящими молниями, через плечо перекинута, – направляется к Обмолотову вальяжно. Подает руку, как будто для поцелуя, а не рукопожатия – ладонью вниз. Растерялся Обмолотов и действительно чуть к руке не припал. «О чем спич?» – глядит Икона поверх Обмолотова в некую непостижную даль.

«Да вот, есть одна идея, – похлопывает Обмолотов красную папку с виньетками и неожиданно, кивая в сторону беженки, выпаливает: – Надо бы устроить показательные соревнования японских мечей, а там – получить заказ на их массовое изготовление».

Величественный взгляд Иконы застывает, округляется и неспешно опускается на Обмолотова, который продолжает что-то лопотать про цудзугири, содэ-сури, Яма-но Нагасиху и его священную борьбу с бедностью.

В переходе появляется милицейский наряд – два добрых молодца мускулистых, две добрых дубинки ребристых, и беженка безропотно поднимается с насиженного места. «Видел? – указывает перстом Икона на молодцев. – И не надо никакого цудзугири дурацкого, Нагасиха ты Яmano!»

В малиновом платке, прижимая к груди спящего младенца, закутанного в лиловые лохмотья, беженка незаметно растворяется в синеватой дымке Невского проспекта, как Мадонна.

Стоять, Зорька!

Процветающий юрист Воробьев приглашает увядающего юриста Орлова в суши-бар – на горячее саке и нежные утиные крылышки, томленные в пиве. «Зорька, стоять! – кричит Воробьев. – Сегодня я проставляюсь – суд выиграл! Стоять, Зорька!»

В городе изредка скакали на цирковых лошадях и стреляли из пистолетов. Неизвестные стрелки пользовались либо итальянскими «береттами», либо югославскими «агранами»,

либо китайскими «тэтэшками». Неизвестные стрелки поджидали жертвы либо на лестницах темных, либо на чердаках пустых, либо на Стрелке Васильевского острова. Они надевали либо спортивный костюм, либо кожаные куртки с тугими застежками, либо женские платья и парики. Но никогда неизвестные стрелки не стреляли просто так, от нечего делать. Они всегда стреляли из-за денег и всегда в яблочко попадали. Разумеется, в это время милицейский наряд нес опасную службу в синеватой дымке Невского проспекта.

Общественник Уртранцев был внезапно застрелен у подъезда собственного дома на Екатерингофском канале. Говорили, что он возвращался из бани и в его руках была хозяйственная сумка. Из сумки торчал пучок можжевельных веток – острыми прутьями кверху. У подъезда его поджидала хорошенькая артистка в оренбургском пуховом платке и кокошнике, отделанном красными бусинками. Приблизившись к Уртранцеву, артистка улыбнулась, распахнула пуховый платок и выстрелила в упор. На месте происшествия остался дымящийся пистолет «ТТ» китайского производства, бездыханный труп общественника Уртранцева и сиротливый пучок можжевельных веток. Кокошник и сумка исчезли в разных направлениях.

На следующий день догадливая журналистка Апостольская, описывая в «Вечерней газете» случившееся на Екатерингофском канале, предположила, что в хозяйственной сумке Уртранцева находился миллион рублей, завернутый в махровое полотенце. Возмущенная общественность потребовала немедленной сатисфакции, поскольку убитый общественник вел бескорыстный образ жизни, возвращаясь из бани. В районный суд был подан иск о защите чести и достоинства Уртранцева, цинично оклеветанного газетчиками. Интересы истца представлял адвокат Разумовский, интересы ответчика – Воробьевы

Статья 17 Гражданского кодекса

Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.

Статья 150 Гражданского кодекса

Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

Статья 152 Гражданского кодекса

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти.

«Труп не имеет ни чести, ни достоинства, – грызет утиное крылышко Воробьевъ. – Это доказывается как дважды два. Стоять, Зорька! Во-первых, Уртранцев при жизни, быть может, гордился этим миллионом, вовсе не считая его наличие в махровом полотенце чем-то постыдным или позорным. Во-вторых, публикация появилась после смерти Уртранцева, который не мог ни оценить ее, ни опротестовать, поскольку утратил всякую правоспособность. В связи с этим у суда не было возможности защитить его нематериальные блага и права, к каковым относятся честь и достоинство, ибо в данном случае они уже обрели свои подлинные качества, они уже стали фантомами, как и сам обладатель этих прав и благ. Вот в чем фокус, стоять, Зорька».

«Да, да, я читал, – кивает головой Орлов. – Повесть временных лет. Мертвые сраму не имут».

«Вот именно, не имут! – бросает обгрызенную косточку Воробьевъ. – В противном случае можно будет защищать честь и достоинство хоть Батья, хоть Мазепы, хоть Ивана Грозного. Про Ленина и Гитлера умолчу, ибо очевидно, что и сегодня найдутся заинтересованные граждане, готовые подать иск в их защиту!»

«Получается, – тычет Орлов японскими палочками, – что вон тот замухрышка, что сейчас околачивается у дверей (это был Обмолотов), обладает на данный момент достоинством куда большим, чем Александр Македонский или генерал де Голль, имеет честь, не сравнимую с честью Овидия или самого Александра Сергеевича Пушкина?»

«Именно так, ибо, ибо, ибо, – пытается Воробьевъ разлить из кувшинчика горячее саке по чашечкам. – Стоять, Зорька!»

Ужаснулся Орлов. Ясно представил себе свое запредельное будущее – черное, обесчещенное, недостойное, похожее на грязную плевательницу, куда всякий мерзавец может сплюнуть желчную слюну. И загоревал Орлов, что не стало у него вечности – осталось только настоящее, но такое мимолетное и призрачное, как утренняя нежность небесная. И теперь понятно стало Орлову это неодолимое желание остановить мгновение, попридержать его при себе, не отпуская в дальний путь.

«Да, да, я читал, – печалится Орлов. – Гете. Фауст. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Зорька, стоять, стоять, Зорька!»

Порebritков и Бордюриков пьют. Порebritков пьет чай, а Бордюриков – кофе. Порebritков пьет чай черный, байховый, мелколистовой, напоенный жарким индийским солнцем. Покупая напиток, Порebritков усердно трет монеткой упаковку – серебряную фольгу.

«Вы так до дырки дотрете!» – беспокоится продавщица.

«Не дотру, – отвечает Порebritков, – настоящий чай дырки не дает».

«Если будет дырка, – поясняет продавщице Бордюриков, – значит, товар поддельный».

«Мы с подделками дел не имеем, – обижается та, – у нас фольга подлинная».

«А чай?»

Бордюриков пьет кофе крепкий, темно-золотистой обжарки, пахнувший пряным бразильским зноем, вольным ветром и счастьем. «Я сейчас кофеек бодрячок заварю, – богато сыпет в джезву Бордюриков. – Не желаете взбодриться?»

«Нет уж, увольте, я мировоззрения не меняю», – прихлебывает Порebritков жиденский чай, за которым виднеется весь блистательный Петербург с пригородами.

Порebritков и Бордюриков вирши пишут и поэмы златокрылые. Порebritков пишет из божественного вдохновения, велеречиво, а Бордюриков – на заказ, для какой-нибудь рекламной компании, или просто для буйного веселья и застольного пиршества духа. У Порebritкова получается примерно так:

Застит ночь избяные зарницы,
Проясняя сердечный мой взор,
И трепещет душа, яко птица,
Воскриляясь на светлый простор.

Бордюриков, читая творения порebritковские, добродушно всегда похихатывает, предлагает заменить избяные зарницы лубяными глазами – все равно, мол, одна пустомыслица получится. Но порой смягчается Бордюриков, советует Порebritкову сердечный взор превратить в похмельный: «Вот тогда будет правда художественной жизни, отразится в очах ее маета и глубота».

Время от времени, по православным праздникам – на Пасху, Троицу или Рождество, безбожный Бордюриков преподносит Пореврикову рифмованные куплеты:

Известно, что является
Поревриков скупцом:
На Пасху разговляется
Он собственным яйцом.

«Я не скупец, – дует губы Поревриков, – я глубокий эконом».
«Неужто Адама Смита читаешь?» – удивляется Бордюриков.
«Нет, мне и Евангелия хватает – хлеб насущный даждь нам днесь да избавь от лукавого».
«От этого, что ли? – дзинькает пальцем Бордюриков по пустой стеклотаре с пятипальными отпечатками сальными. – От этого ты еще вчера избавился. А сегодняшний лукавый пока не нарисовался».

Разные стихи пишут Поревриков и Бордюриков, разные напитки целебные пьют, отчего и числятся в разных писательских гильдиях.

Повесть о союзе строкомеров

В оные годы имперский союз строкомеров был един и неделим, а с началом свободы отдельные члены стали проявлять своеобразие и своемыслие. Раскол произошел из-за чая с кофеем. Дело в том, что однажды группа строкомеров прочтала в Детской энциклопедии, что чай был завезен в Россию раньше, чем кофе, – в 1638 году монгольский хан Алтын подарил четыре пуда диковинного сушеного листа московскому послу Василию Старкову, который и доставил чай к столу царя Михаила Федоровича. А кофе впервые попробовал только его внук, царь Петр Алексеевич, в 1698 году, в ходе Великого посольства в Европу, когда проживал и столовался в доме садовода Эвелина – основателя Лондонского Королевского общества. На этом основании группа строкомеров стала защищать приоритет чая перед кофеем, объявив напиток, доставленный восточным путем, исконным и полезным для здоровья народа. В народе эти строкомеры получили прозвище чайников. Чайники всячески пропагандировали чудесные свойства чая, его божественную силу и чистоту.

Другая группа строкомеров не согласилась с таким положением вещей, провозгласив мешок абиссинского мокко, доставленный в Россию западным путем, символом просвещения и торжества разума над темными магическими силами. Они отмечали удивительное возбуждающее воздействие этого напитка на деятельность мозга и нервной системы, в подтверждение непрестанно насвистывая веселую кантату Иоганна Себастьяна Баха, посвященную кофе. Эти строкомеры в народе получили прозвище кофейников.

Между чайниками и кофейниками то и дело вспыхивали стычки и баталии. Чайники обзывали кофейников предателями Отечества, иудами и прозелитами смертоносной кофемании. Кофейники указывали чайникам на азиатское, дремучее, отсталое происхождение слова «чай» и необычайную чайную причину американской революции.

Однако большинству строкомеров полемика между чайниками и кофейниками представлялась несколько метафизической. Они в основном употребляли водочку, баловались коньячком, угощались шампанским. В народе же подобных строкомеров презрительно кликали подстаканниками. Воистину, встречаясь тет-а-тет с кофейниками, подстаканники демонстративно дули кофе, и попивали с наслаждением чаек, беседуя наедине с чайниками. Чего греха таить, многие подстаканники в глубине души были чайниками, хотя формально числились кофейниками в силу генеральной кофейной линии.

Все кончилось в одночасье, когда сгорел старинный особняк на Шпалерной улице, именуемый чайниками чертовой кофейней, а кофейниками смрадной чайною или чагу аром – на

китайский манер. В ночном пожаре, наряду с тюками байхового чая и мешками кофейных зерен, сгорели всякие чаяния, веяния и верования. Новое поколение строкомеров выбрало некий заморский напиток «пепси» – бодрый освежающий эликсир успеха, способствующий ожирению сердца и прочих органов. Оно ставило ни во что прежние заслуги в чайно-кофейной борьбе, без передыху строчило чтиво и кичилось кичем. Прощай, империя!

«Ах, какая была держава! – смакует Бордюрчиков кофе. – Какие были поэты, маринисты, художники разные!»

«Да, были люди в наше время, – потягивает Поребриков чаек, – богатыри Невы! А теперь нет ни богатырей видных, ни сказителей самобытных – кругом одни бесстыдные проекты и прожекты. Но когда-нибудь восторжествует правда, и начнут люди искать свое прошлое, чтобы обрести среди запаяванных слов и низвергнутых камней искорку Божью и зажечь мысль, великую и свободную. Будущее – в нас, мы обречены на будущее».

«Не застыт ли его избяные зарницы?»

Дух Дельвига

Знаменательно: все предыдущие смуты в Петербурге возникали из-за хлеба, а нынешняя свобода, как истинная петербурженка, явилась из-за камня. Этот камень принадлежал барону Дельвигу, который, укрывшись в кущах ионийских, воочию наблюдал изобретение ваяния, способного оживить грубый прах:

Боги! на глине я вижу очерк прямой и чудесный...

Так вот, когда камень Дельвига был предназначен к сносу, на Владимирскую площадь вышел молодой человек и стал объяснять, что камень сносить нельзя, иначе исчезнет прекрасный дух Дельвига, заключенный в нем. Постепенно народное движение в защиту одухотворенного камня ширилось и в конце концов победило: камень остался целым и невредимым, а молодой человек стал депутатом.

Депутаты регулярно переизбирались в городское собрание, демонстрируя на выборах свои недюжинные способности, а именно: считать на счетах, играть на виолончели и блистать, блистать, блистать в разных платьях и смыслах. Правда, любовь народная переменчива: сегодня нравится виолончель, а завтра – барабан с литаврами. Но для молодого человека народ всегда делал исключение: «Он ведь дух Дельвига представляет, а как собранию без духа? Без духа и воли нет!».

Раффлезия арнольди

Направился однажды Фуражкин к духу Дельвига в Мариинский дворец – неприступную фортецию свободного законотворчества. Поднялся по Парадной лестнице, охраняемой Ахиллесом и прочими заслуженными изваяниями Троянской войны, стал прохаживаться по длинным анфиладам, по залам расписным, с мраморными колоннадами, бронзовыми люстрами и золочеными грифонами. Кругом царила торжественная обстановка прозрачной тишины и российской государственности. «Картина Репина», – припомнил Фуражкин, окидывая взглядом знаменитую Ротонду, пронизанную косым солнечным пунктиром, в промежутках которого мерцали призрачные депутаты, творились инаугурации губернаторов и звучали победные фанфары.

Дух Дельвига был где-то на заседании, и Фуражкин заглянул в покои герцога Лейхтенбергского послушать трансляцию мудрого законотворческого процесса. Здесь сосредоточился

цвет петербургской журналистики – догадливая сотрудница «Вечерней газеты» Елизавета Апостольская, необъятная телеведущая Юлия Перченкина, корреспондент местного радио Степан Степанов – по прозвищу дядя Степа. Журналистки непрестанно кружились по кабинету, сверкая осиными линзами. Дядя Степа, вытянув длинные ноги в красных ботинках, благодушеествовал. В динамиках звучал тонкий, почти детский голосок, с металлическими нотками резкости и задорности, пытаясь очаровать слушателей познаниями юного мичуринца.

Речь, озвученная Яблочковым в Большом зале Мариинского дворца

Уважаемые хм депутаты! Приближающееся трехсотлетие Санкт-Петербурга ставит перед нами новые задачи. Сюда, на берега Невы, вскоре придут хм многочисленные гости, и нам небезразлично, как будет выглядеть наш город в период хм празднования. Здесь нам помог бы передовой зарубежный опыт. Я видел в Амстердаме клумбы, висящие на фонарях. Это красиво. Почему бы и нам, по амстердамскому образцу, не украсить улицы хм площади города подобными висячими клумбами, усаженными не только ноготками, но и календулами?

Между тем в программе подготовки празднования хм пункт о висячих клумбах почему-то отсутствует. Там вообще не нашлось места творческой инициативе, свободным исканиям и прозрениям петербуржцев. Например, мой проект озеленения телевизионной башни был высокомерно отвергнут чиновниками. А ведь расчеты показывают, что ротанговые пальмы, которые обовьют башню, способны достигать невиданной хм длины – до 239,5 метра! Мало того, наверху башни я предлагаю разбить дивный сад – посадить цветы раффлезии Арнольди, способные достигать невиданного хм диаметра – 0,9 метра! И тогда наша башня, гордость северной столицы, расцветет в небесах, как огромный чудесный цветок. Это будет настоящим подарком к юбилею, которым хм восхитятся все приехавшие гости. Да мы и сами хм восхитимся! (Аплодисменты.)

С шумом врывается в герцогские покои взлохмаченный журналист Тройкин, одновременно почесывая затылок и дожевывая бутерброд. Никто толком не знал, в какой редакции он работает, какие статьи пишет, но ежедневно видели его то там, то сям, и всегда – закусьвающим на фуршетах. Со временем прилепилась к Тройкину обидная кличка «бутербродник», обозначавшая шалопая, который неделями скитается по городу от стола к столу, позабыв и самый адрес редакции.

«Тише, тише, он выступает, – шикают на Тройкина журналистки и, вращая осиными линзами, шушукаются друг с дружкой. – Какой умница наш будущий губернатор! Говорят, Сам уже все знает и поддерживает его кандидатуру – молодой, перспективный, с идеями».

Дядя Степа ухмыляется, а Тройкин, одновременно вынимая из сумки потасканный магнитофончик и потертый блокнотик, шепчет ему на ухо: «А кто губернатор-то? Губернатор-то кто? Чья башня-то? Башня-то чья приехала?».

«Пойду-ка я отсюда, – решил Фуражкин. – Люди серьезным делом заняты, хотят цветники в облаках разбить, а я к ним со своим проектом летучего ангела и прочими заморочками. Куда же дух Дельвига запропастился?»

Уусикиркко

«Поедем в Уусикиркко, – говорит Ксении юноша Бесплотных, – я покажу тебе дом, я покажу тебе могилу Елены Генриховны».

Стучат колеса утреннего электропоезда – катадам ду ду катадам ду ду катадам ду ду – летят перелески весенние, подбитые зеленой бахромой, порхают облака перьевые, окаймленные золотыми полосками, кружатся птицы перелетные, опьяненные счастьем возвращения. А

дальше длинная дорога от станции Каннельярви – асфальтовая, зернистая, звонкая – ведет мимо мшистого косогора, мимо аллеи смешанного леса, мимо убогих строений деревянных.

«Вон там, за тонким березняком, – говорит юноша Бесплотных, – раскинулась Средняя Азия – песчаный карьер с золотистыми барханами и чахлыми кустиками, а там, за бронзовыми соснами, находится Испания. Там звенят на ветру серебристые камыши Гитарного озера».

«А где жила Елена Генриховна? – интересуется Ксения. – В том смысле, далеко ли еще топтать?»

«Елена Генриховна жила в Норвегии, – уточняет юноша. – Она жила в стране камней, сосен и эльфов. Чуть южнее, в Финляндии, пребывал Баратынский, женившийся на Эде. Пушкин сначала жил во Франции, а потом собрался в Китай, но был застрелен по дороге французом. Тютчев обретался в туманной Германии. К концу жизни там поселился и Фет. Мандельштам пел на развалинах Эллады. Каждый настоящий русский поэт жил в какой-то иной стране, в иной духовной области, и только так, формально, для батюшки царя или для паспортного стола, числился по России. Вот сейчас все ищут русскую идентичность – по какому, мол, адресу мы прописаны? А русские – это вечные викинги, странники вечные, тучки небесные. Мы и христианство приняли потому, что там есть странничество. Вчерашний воитель в мгновение ока стал паломником, потому что к царству Божьему приближает война, а не мир. Мир – это дом, благоустройство, украшение, Ветхий Завет. Война – это боевой поход, это марш бросок, это странствие, это Евангелие. Это Христос сказал, что принес не мир, но меч. Нам нравится дорога, а не дом, нам нравится линия, а не точка. Наш дом родной – не строение, а нестроение. Наша дорога не может быть благоустроенной, как дом, потому что ее некогда благоустроить, да и зачем? По ней нужно идти, нужно двигаться к цели. А цель – иная, придуманная страна. Сейчас мы с тобой идем в Норвегию, к Елене Генриховне».

Норвегия выглядит холмом, поросшим соснами и березами, на вершине которого темнеет полуразрушенная каменная кирха. К ней ведут гранитные ступени, застеленные зеленым мхом забвения. Мощные стены сложены из грубых валунов, отчего церковь напоминает средневековую башню. Сквозь кирпичные арки проходит ветер – серый, с голубым отливом. И тонкая рябинка, прилепившаяся к верхнему валуну, приветствует веточками, прозрачными и хрупкими.

Вокруг кирхи, в густых зарослях травы, светятся кресты и звезды, обнесенные узорными оградками. Кое-где в углах притулились деревянные столики и скамейки – ветхие, выцветшие от солнца и дождя. На столиках разбросаны одинокие конфетки и черствые кусочки ржаного хлеба – приношение ушедшим в иной мир. На узкой тропинке деловитый, с черным галстуком, воробей встречает редких посетителей кладбища.

«Присядем», – предлагает Ксении юноша Бесплотных. Около столика возвышается красный крест, повитый бумажными цветками смерти. А чуть подалее, у самой оградки, чернеет безымянная стела с жестяной звездой.

«Я хочу тебе прочесть кое-что, – достает юноша тонкую тетрадку. – Это выписки из дневника Елены Генриховны за 1913 год – последний год ее недолгой жизни. Иногда мне кажется, что это она пишет обо мне».

Из дневника Елены Генриховны

Что это, в самом деле? Неужели этот Евгений, прогнанный от тепла и света в ночь, так у меня болит? Могу ли я послать ему ласку в одиночество? Может быть, немножко, но не более, чем помочить губы умирающего водой... Очень болит!

Что мне тревожно? Где-нибудь есть настоящий, воплощенный Евгений – с прогнанными плечами – и ночь? И я могла бы его любить так тепло, так раздирающе нежно, а он бы не зябнул больше...

Иду и тихо повторяю себе: «Свет в ночи!». Исполнившиеся стоят здания на вехах темной ночи. Говорит кто-то нежно: «Ты идешь и бережешь звезду в груди, ты несешь через запутанную уллицу звезду в груди, положи руки на грудь, береги ее».

Фонарь меркнет у портерной, прохожу переулок, пересекаю площадь. Я не боюсь никого. Ноги приобрели полет. Прижимаю руки к груди, отвечаю голосу: «Иду с крестом на сердце». Фонари лизжут, дрожа, дорогу через полуспящий, потонувший до утра грешный город.

Эротиканетемная. Таинство. Смерть. Любовь. Элементы высшего эротизма в подвиге. Жизнь творящая. Эротика дает вершины подвига. В подвиге огонь самоуничтожения.

Если бы существа знали, где путь правды, то ничего бы не надо, кроме хлеба, струганого стола... И совокупляться даже бы забыли. И бес меня спрашивает: «А севрские вазы?». Но меня не испугаешь: «Севрские вазы вместе с ликами святых людей ставили бы в божнищцы, а стихи Шиллера выучили бы наизусть. И севрская ваза стала бы песней, а не негой тела, потерявшей смысл подвига». – «Но тогда перестали бы лепить вазы!» – говорит бес. «Ну, тогда слепили бы символы бессмертия солнечной жизни, медовой жизни, всевластной доброты!» – говорю я.

Праздники соборные, чуждые неги. Для них вазы, севры, а каждый день счастлив все-таки тот, кто не замечает, из чего пьет и что пьет от радости свершаемого им. Нет, правда, будет третья истина. Если в радости подвига да вдруг заметят, что у чашечки розовая каемочка, – как она им засветится днем весенним.

«Я хочу поклониться кресту Елены Генриховны», – просит Ксения, серьезная и притихшая.

«Да нет никакого креста. Вернее, он есть, но я не знаю, как к нему пройти, – закрывает тетрадку юноша Бесплотных. – Понимаешь, Михаил Васильевич Матюшин (это муж Елены Генриховны) просто прибил перекладину к стволу сосны, растущей рядом с ее могилой. А на стволе вырезал ножом инициалы “ЕГГ” и повесил маленькую иконку Богородицы. Еще он устроил скамеечку с ящиком, куда положил книжку Елены Генриховны, чтобы любой прохожий мог прочесть про небесных верблюжат. Но кладбище разорили во время войны, а сосна с тех пор выросла, и надмогильный крест Елены Генриховны сам собой поднялся в небеса...»

Плывут в туман перелески, таятся в темных кустах птицы, облака возвращаются домой. Стучат колеса вечернего электропоезда – ду ду катадам ду ду катадам ду ду катадам.

Голубка

В Пантелеймоновской церкви, до свободы именованной музеем гангутских защитников, царствует светлая грусть – фотографические корабли давно отплыли в печальную пучину, давно сокрылись в глубинах вечности героические бескозырки, хранившие память о великом морском переходе, и только священная дудочка поэта, казалось, еще плачет под обветшалым куполом храма.

И много жизней во вселенной
Легло на жертвенник военный —
Медноголовых змей наука,
В пространство пущенных из лука.

В Пантелеймоновской церкви стоит другой Фуражкин – оплывший, как свеча. Зажигает маленькую свечку, ставит ее перед иконою. И теперь как бы две свечи воздают хвалу Господу, две свечи молятся всем святым. А на иконе апостолы Петр да Павел, в небесных хитонах,

склонились над желтым зданием с треугольным фронтоном греческим, с колоннами белоснежными. Из-за здания, окруженного кудрявыми изумрудами, вытекает синий ручей, омывающий голые лодыжки апостолов. «Господи, неужели это Смольный? – крестится Фуражкин. – Не может быть, чтобы штаб революции очутился в святом месте. Вот наваждение!»

Выходит другой Фуражкин из церкви, – голуби на летописной брусчатке воркуют, клюют золотые зерна любви, – по дороге прикидывает, откуда явились вздорные ассоциации. Наверное, когда служил матросом на Краснознаменном Балтийском флоте, начитался на политинформациях благочестивых размышлений Скворцова-Степанова об аде и рае, бесах и ангелах, грешниках и праведниках: «Буржуи – это свечи толщиной в ручищу, а пролетарии – это копеечные свечки, тонкие, как высохший палец зеленого пролетарского ребенка». Помнится, сильно поразился тогда этому зеленому пролетарскому ребенку, который представился ему тихо сгорающим в блокадном городе от голода – как свечечка на кануне, перед траурным крестом.

Проходит другой Фуражкин мимо легендарного музея обороны Ленинграда, где две зенитки у входа, как колодезные журавли, стремятся в небо, покрашенное свинцовой пасмурью. «Хорошо бы, – поворачивает он к набережной, – хорошо бы поинтересоваться у апостолов, чего это вы, Петр да

Павел, над Смольным склонились, как над пациентом? Лечите или соборуете? Почему больницу психиатрическую назвали именем Скворцова-Степанова? Это что – некая почесть революционная или Божье наказание? Взяли да и вписали навеки имя славного товарища в сумасшедший именованослов – наряду со всякими Достоевскими двойниками. Как легко сойти с ума – надо всего лишь поменять имя. Вот поменяли Питер на Ленинград, и начались сумасшествия. Кто спас город? Только ангел и спас».

Сегодня спасать город некому – колокольня Петропавловского собора, обнесенная строительными лесами и заботами, лишена золотой идеи. Ангел улетел на реставрацию. Говорят, однажды по весне прошедшего столетия решили в Смольном заменить его фигурой вождя в рабочей кепке: «Раз имя поменяли, надо и символ города менять». Однако нашелся один разумник, сказал, что этого делать нельзя, потому что тогда вождь, отразившись в Неве, повернется вверх тормашками. Ангел-хранитель уцелел и как-то по осени возвратил городу подлинное название. А Ленинград стал псевдонимом и утонул в речном времени.

С крепости пушка бьет, и другой Фуражкин сверяет часы.

«Настала новая эпоха, – думает Фуражкин, – эпоха реставрации, когда настоящий художник не сидит, сложа руки, а возвращает вещам подлинные имена, реставрируя их в мастерской памяти. Он противостоит сумасшествию, он борется с ложными переименованиями. Петербург должен стать Петербургом, дом должен стать домом, раскладушка должна стать раскладушкой, а не идиотическим сновидением. Это будет всеобщее восстановление сущности. Это будет возвращение к библейским истокам бытия, иначе все опять повернется вверх тормашками, все обрушится в бездну!»

Голубка пролетела.

Водка, сало, Достоевский

Голубоглаз князь Мишкин, белокур и таинственен, как визитка. Визитка есть овеществленная функция имени. Черный человек, какой-нибудь спецчеловек, имеет черную визитку с радужными орлиными крыльями и надписью золотом: «Специальная служба». Белый человек, какой-нибудь всечеловек, имеет белую визитку с тонкими голубыми насечками: «Международный благотворительный фонд». Черный человек богат, крылат и державен. Белый человек беден, бледен и гол, как корабельный колокол. Лев Николаевич Мишкин раздает бело-голубую визитку с черно-золотой отделкой: «Князь». Такая эклектика свидетельствует, что, конечно,

никаким князем Мишкин не является и его улыбчивая визитка есть овеществленная фикция. Просто черный человек желает казаться белым.

Князь Мишкин содержит ресторацию на углу набережной Мойки, неподалеку от Сенатской площади. Ресторация располагается в полуподвале и обозначена красным флагом с белым девизом: «Идиоты всех стран, соединяйтесь!». Как правило, идиотами оказываются богатые иностранные пилигримы, поселившиеся под четырьмя гостиничными звездами. Они алчут туземной экзотики, какую получают сполна в заведении князя Мишкина.

Спускаясь в полуподвал, пилигрим неожиданно натывается на длинные стеллажи с книгами о доблестных пограничниках, бдительно охраняющих обширные границы бывшей империи, о смелых полярниках, покоряющих ее ледяные пространства, о птицах и зверях, составляющих ее героическую фауну. Вся эта имперская литература перемежается горшочками с гортензиями. Затем пилигрим попадает в небольшую залу, обставленную обшарпанными столами и колченогими стульями минувших лет. На столах белые фарфоровые медведи представляют пепельницы, почерневшие, как промоины. На выцветших обоях золоченые багеты представляют репродукции передвижников, сверкающие, как разночинные сапоги. Дальний угол отгорожен китайской ширмой с изображением огромного красного дракона, выползающего из хрустального родника, над которым желтые монахи вращают сутру Низкие подоконники заполняют никелированные самовары, цветастые гармошки и пишущие машинки «Москва» с клавиатурой, продавленной в неизвестность. За решетчатым окном виднеется в тумане золотой купол Исаакия, глухой переулочек печали и высокий кирпичный брендмауэр – верный и разительный ряд философии Достоевского.

Усевшись на колченогий стул, пилигрим заказывает миловидной официантке Олии фирменный салат «Раскольников» и фирменный коктейль «Преступление и наказание». Миловидная официантка Олия настойчиво предлагает закусить «Советской Украиной», иначе впечатление, говорит, будет неполным. Пилигрим соглашается, и вскоре перед ним возникают блюда и напитки: горячая картошка в мундире, шмат сала, обильно политый жгучей горчицей, и коктейль – умопомрачительная смесь крепкой русской водки, душистого коньяка, игристого шампанского и пенистого пива, присыпанная черным молотым перцем. Пилигрим крикает от удовольствия, не предвидя его последствия.

Правда, прибывший к столу князь Мишкин, вручая свою визитку, заранее предупредит пилигрима: «Преступление – наше, наказание – ваше». Но тот, вооружившись граненым стаканом, уже не слышит эти пророческие слова. И только потом, очнувшись где-нибудь в Генуе или Лукке, он ощутит в желудке огненное жжение тоталитаризма и сообщит пытливым коллегам, что в России, увы, до сих пор бродят белые медведи и цветут имперские гортензии.

«Водка, сало, Достоевский, – в прострации будет долдонить пилигрим. – Достоевский, сало, водка».

Дырявый вечер

«Eh bien, mon prince, Gênes et Lucques – это такие задворки мира, что не стоит и говорить о них. Где они находятся? Покажите мне на карте! Ну, здравствуйте, здравствуйте!» – так скажет юбилейною весной Люсия Султановна Киргиз-Кайсацкая, известная сенаторша и приближенная к Самому, нисходя в ресторацию князя Льва Николаевича Мишкина.

Однажды вечером Сам, наблюдая холодное звездное ян, дожидался земную теплую инь и вспоминал мудрые напутствия отважного воина Юздана Дайдодзи: «Самурай – это чиновник на случай беды, и, когда в государстве возникает смута, он снимает церемониальные одежды и облачается в доспехи». В душе Самого возникала добрая отеческая ответственность за себя Самого и за каждого россиянина:

«Когда самурай находится на службе, его долг состоит в том, чтобы уничтожать мятежников и разбойников, обеспечивать спокойствие и безопасность. У самурая есть обязанности военные и строительные. Когда полыхает война, он должен находиться на поле брани. В мирное время он должен заниматься строительством и инспектировать земли. Следует всегда быть внимательным к людям и не причинять им вреда, загоняя в нужду и лишения. Надежность – это качество, крайне необходимое самураю, но ни в коем случае не следует оказывать помощь без веских причин, ввязываться в дела, которые не имеют значения. Высшая доблесть самурая – когда он кричит: “Я исполню то, что никто не может исполнить!”. Поскольку он не знает, когда ему суждено это исполнить, он не должен причинять вред своему здоровью излишеством в еде и вине, а также увлечением женщинами. Когда же возникает опасность спора, который может привести к стычке, самурай должен помнить, что его жизнь ему не принадлежит».

Неожиданно грановитая дверь распахнулась, и на пороге возникла Киргиз-Кайсацкая, держа в руках серебряную тарелку, на которой желтели два поджаренных глаза. Она была из тех темных зловещих колдуний, которые лучше окажутся у разбитого корыта, чем откажутся от неодолимого желания повладычествовать. Подав глазунью, Киргиз-Кайсацкая неожиданно скинула руку и указала Самому на неуклонное течение планет к гибели.

«Путь самурая – это смерть», – заметил мужественный Сам и, убедившись в справедливости небесного предсказания, тут же распорядился назначить Киргиз-Кайсацкую сенаторшей от Луны – благо, что этот блуждающий субъект Российской Федерации был еще никем не занят.

«О, у меня давние связи с Луной, – обрадовалась старушка. – Я буду собирать там чудодейственную травку и продавать голландцам – для улучшения их летучести»...

Приветствуя важную гостью, князь Мишкин растопырит пальцы правой руки, делая щекотливые рожки: «Вы, как всегда, прилетаете вовремя – тик в тик. Элита уже в сборе и ждет не дождется. Дайте я поцелую вашу харизму».

Он чмокает Люсию Султановну в дряблую щеку, принюхиваясь. Харизма пахнет вчерашними щами, заправленными ароматом французских духов и легкой, эфемерной причастностью к.

Элита в лице страшно интеллектуальной дамочки Волочайкиной, приукрашенной модной гривой и последними веяниями мысли, в ожидании оттопыривала атласные шальвары. Под шальварами Волочайкина пыталась скрыть кривые ноги, сплошь покрытые золотистой шерсткой. Однако непослушные завитки все равно ниспадали на остроносые туфельки, что нетерпеливо постукивали по паркету, как копытца. Дерзкая, она смущалась.

Киргиз-Кайсацкая проходит в небольшую залу, где за китайской ширмой палачествовал очкообразный нонконформист Эш, достраивая суперкомпозицию – черно-белые фотографии самоварной дырки он раскрашивал кровавым фломастером, опалил по краям зажигалкой, зажимал бельевыми прищепками на натянутой веревке, образуя некую символическую пятерку повешенных. Люсия Султановна устало раскидывается на диване и шипит приблизившейся элите: «Бриться надо, *ma chère!*».

Зажигаются красные свечи, вспыхивают бокалы шампанского, клубятся табачные букли, четырехстопные звучат ямбы:

Сегодня чествуется Дырка,
Святых заступница начал,
Надежды мрачная Бутырка,
Несчастьем верная просвирка
И жизни призрачный омфал.

Смежив усталые глазницы,

Она вершила тайный труд,
Взыскуя пламенной денницы,
Здесь укрывался Солженицын
Во глубине кирпичных труб.

И, восхищая провиденье,
Среди невиданных угроз
Она таила откровенье,
И божество, и вдохновенье,
И самиздат, и контрафос.

Зала хлопает жидко и хлипко. Вечер пущен в ночь, в ночи шумят веретена и вертятся волчком Волочайкина. Киргиз-Кайсацкая царственно озирает собрание. Узок круг этих избранных – один вальжный художник, никогда не снимающий кепи и хромовые сапоги, двое потасканных поэтов, никогда не расстающихся с закадычной подружкой 40°, да несколько уважаемых туристов, юристов и журналистов. Среди последних сенаторша внезапно обнаруживает Тройкина, никогда не устающего закусывать и почесываться.

«Я же просила Тройкина не пускать, – злится Киргиз-Кайсацкая. – Он, должно быть, болен чесоткой – вон как чешется! Где этот Мишкин-Замухрышкин?»

Иностраннный пилигрим общается с Обмолотовым постольку, Обмолотов общается с пилигримом поскольку «Это было ужасно, – повествует Обмолотов. – Мы все время боялись. Я переписывал от руки стихи про таракана и прятал в эту дырку. “Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет. Он попался. Он в капкане. И теперь он казни ждет”. Мы все время ждали казни. Мне приходилось там скрывать иконку. Вот как было».

«Ваше отверстие зовут Софья Казимировна?» – подмигивает гость.

«Понимаете, это было условное название. Мне приносили какой-то сверток, какой-то кулек, и говорили, что это – для Софьи Казимировны. Потом звонили, спрашивали, как поживает Софья Казимировна? Я отвечал, что все в порядке, здоровье хорошее. Никто не мог догадаться, что речь идет о дырке, о тайнике. Это была конспирация, это был псевдоним».

Остальные гости, потолкавшись минуту рядом с иностраннным пилигримом и почувствовав себя лишними, отходят в сторонку:

«Опять грозили повышением».

«Вы хотите сказать – повешением? У меня кукушка на часах накуковала».

«Господь с вами!»

«Раньше свет ничего не стоил».

«Это наш светоч устроил, наша лампочка рыжая».

«Конечно, он делает черную работу, но, но, но...»

«Стоять, Зорька!»

«Чего вы ржете?»

«Он – величайший философ жизни. Он пытается доказать, что ничто имеет цену, что ничто – это нечто, что за свет надо платить».

«Интересно, как его зовут?»

«Печальный демон, дух изгнания».

«Так пусть женится на Софье Казимировне!»

Наконец Киргиз-Кайсацкая поднимается с дивана: «Ну, до свидания, до свидания, prince! Я расскажу о вас Самому По телевидению. – И, усаживаясь в черный «джип» с трехцветными федеральными значками, грозит пальчиком: – Зачем вы опять пустили Тройкина?».

Князь Мишкин суетится, втуне поддерживая дряблую сенаторшу и оправдываясь втуне:

«Я не могу понять, как этот Тройкин проскальзывает. Как будто из-под земли появляется».

Водитель отрывисто смеется, отъезжая на.

В ресторации еще дымится оплывшие свечи, еще болтаются на веревке развешанные фотографии, еще поблескивает на столах хрустальный беспорядок. «Ох-хо-хонюшки!» – князь Мишкин разваливается на диване, еще овеянном благодетельным духом, и лениво переключает телевизионные кнопки, пока не зажуржат в далеком голубом эфире осиные линзы Юлии Перченкиной.

Информационное сообщение Петербургского ТВ

Сегодня состоялся юбилейный вечер Софьи Казимировны Дырки, на котором присутствовали широкие представители научной и культурной общественности нашего города.

Софья Казимировна родилась в Санкт-Петербурге еще до революции. В мрачные годы террора, когда безжалостно уничтожались шедевры отечественного искусства, Софья Казимировна осталась без работы. Однако, несмотря на это, она с риском для жизни продолжила служение высоким идеалам, пряча у себя предметы литературы и культа. Ее услугами, в частности, неоднократно пользовались те, кто ни на минуту не сомневался в торжестве ценностей.

Своим вторым рождением она обязана местному краеведу Василию Ивановичу Обмолотову, который сумел не только разыскать ее среди заслуженных ветеранов, но и содействовать юридическому оформлению по месту жительства.

На вечере поэты Андрей Поребриков и Андрей Бордюриков прочли проникновенные стихи, посвященные юбиляру, а известный художник Сергей Иконников сообщил, что дом, где проживает Софья Казимировна, г/же включен в список достопримечательностей, рекомендуемых для посещения иностранными туристами.

Бутербродник

Особенная у Тройкина была визитка – растрепанная и бледная, как праведница Ксения Петербургская. На визитке отцветающей вязью церковнославянской было начертано: «Летописець». Никто о таком журнале не слыхивал, никто такой журнал не читывал. Его действительно никогда не существовало. Но всякий, кто интересовался скромной персоной Дмитрия Несторовича Тройкина, жалостливо отказывался брать в руки убогую визитку, как будто ему протягивали последний медный грош. Тройкин благодарил, прятал единственный экземпляр в визитницу и проскальзывал туда, где накрывались богатые столы, собирались напыщенные именитости и свершались разные исторические события.

К историческим Тройкин относил три события – завтрак, обед и ужин. Полдник считался мелким эпизодом, который не оказывал существенного влияния на развитие Абсолютного духа.

«Вот немецкий философ Хайдеггер определил бытие как событие, в котором оно вместе со временем сбывается и исчезает. А бывает ли событие в инобытии, где нет времени и бытие как бы отсутствует? – спрашивал Тройкин. – Нет, ничего не происходило там, в прекрасном саду Эдемском, ровным счетом ни-че-го! За исключением одного величайшего в истории человечества происшествия, а именно – завтрака. Райским утром Адам и Ева вкусили сладкого яблочка, презентованного змеем, а днем Господь, обнаружив нарушение предписанного меню, изгнал супружников из рая. Позавтракали на небесах, а ужинали уже на земле, в поте лица своего. Так и я: завтракаю там, обедаю сям, а ужинаю – куда Бог пошлет».

Разумеется, Дмитрий Несторович лукавил. Он не доверял иным мистическим случайностям, но, считая себя последовательным гегельянцем, заранее составлял непреложный план своего бытия, соотнесенный с Абсолютным духом.

План бытия

1. Завтрак.

Международная научная конференция (Центр литературы и книги).

2. Обед.

Торжественное открытие четвертой печи (крематорий).

3. Ужин.

Капитул рыцарского ордена (лайнер).

В небесной иерархии Абсолютный дух стоит, конечно, выше, чем Сам, но и Сам, являясь его земным отражением, тоже великий человек. Когда Сам еще был обыкновенным самураем, он тоже составлял план своего доблестного бытия, определял этапы мужественного восхождения на ледяные вершины отшельничества. То была героическая эпоха – эпоха умопомрачительных взлетов к заоблачным высотам с хрустальными фужерами в руках.

Говорят, однажды Сам, будучи уже Самым, решил спуститься с небес и поужинать ностальгически в Петербурге в узком кругу избранников. Сенаторша от Луны выбрала лучшую ресторацию, а черные люди обнюхали и вылизали каждый уголок. Железное оцепление окружило квартал и сомкнулось – муха не пролетит. Приезжает Сам в ресторацию, входит с избранниками в залу, а там уже сидит Тройкин, один-одинешенек, и сумрачно закусывает.

«Террорист!» – схватились черные люди за черные пистолеты.

«Тройкин!» – печально улыбается Сам.

Однако, что бы ни говорили, Дмитрий Несторович Тройкин был настоящим летописцем. Его холостяцкая квартира на Сиреневом бульваре напоминала Публичную библиотеку – куда ни глянь, всюду полочки, полочки, полочки, заставленные магнитофонными книжками. Там, на темных лентах столетия, оглушительно гремели гневные речи площадей, струились сонные доклады заседаний, потихоньку шуршали кухонные разговоры правды. Казалось, книжки были не в силах сдержать внутренние голоса: из одной записи все время выскакивала взбесившаяся буква «ё», из другой медленно вытекали нули за нулями, а третья испуганно вздрагивала от любого дуновения: «Ах!». Квартира наполнялась живыми словами и цифрами, которые судорожно переплетались, кружились в воздухе и падали на пол с таким звоном, что внизу вздрагивал и просыпался сосед – хранитель печати Александр Станиславович Самохин.

«К чему вам эта коллекция сумасшедших букв? – интересовался Фуражкин, познакомившийся с летописцем на вечере в честь Софьи Казимировны Дырки. – К чему вам этот исступленный алфавит века, это вечное журчание абсурда?»

«О, когда-нибудь моя звуковая летопись будет стоять миллионы, – улыбается хозяин. – Но я записываю время не для денег. Здесь зафиксировано то, чего нет и никогда не будет в свободной печати, – здесь зафиксировано реальное бытие. Мои материалы будут интересны философам, психиатрам и историкам, чтобы развеять красивый миф, чтобы разрушить символику ярких нарядов и составить подлинную картину событий. Хотите послушать Яблочкова?»

«Ах, оставьте это удовольствие себе», – смеется Фуражкин.

«Ну, тогда я предложу вам раритет. Это – первая запись, сделанная мною много лет назад на Владимирской площади».

Сухо шелкает японский кассетник, и зашелестело в динамиках время былинное, запела пестрая улица, зазвучал молодой голос неистовый. И предстал перед Фуражкиным неуловимый дух Дельвига:

«Так вот ты где!».

Круголеты

«Где, где? – переспрашивает юноша Бесплотных телефонную трубку. – В Купчине? У черта на куличках. Самый любимый поэт Америки? Всего одно выступление? Ну, конечно, буду».

Самый любимый поэт той стороны земли – клетчатый пиджак нараспашку, шерстяной шарф внаброску – седоголовым коршуном кружится по сцене, всплескивает острыми локтями, звуки гортанные издает. Амфитеатр струится книзу живым алмазным водопадом, огнистые волны восхищения кипят у самой рампы. Юные лебеди и лебедки плещут на ярусах белыми крыльями и подтанцовывают в проходах.

«Однако Чайковский, – решает юноша Бесплотных. – Фантастический балет на диких купчинских берегах». С грустной улыбкой смотрит он на Ксению, которая вся – трепет нежный, вся – чуткий восторг. Каждый жест крылатый ловит она, каждое слово птичье в тетрадку заносит.

Конспект

«Какой философии вы придерживаетесь?»

«Философия – вещь серьезная. Я когда-то ходил к Хайдеггеру с мешочком через всю Европу. Пришел, и мы разговаривали. Наверное, фундамент моей философии заложен там».

«Что вы думаете о творчестве Иосифа Бродского?»

«Мы говорили с ним всего один раз. Это было в Нью-Йорке, он пригласил меня к себе выпить кофе. Бродский очень интересно говорил и без позы. Он говорил о Манделштаме, много рассказывал об Ахматовой. Вдруг что-то зашуршало рядом. Это был его кот. “Как его зовут?” – спросил я. “Миссисипи, – ответил он. – Я считаю, что в имени кошки должна быть буква «с». Я сказал, что моего кота зовут Кус-кус (это название арабских ресторанов во всем мире). Неожиданно Бродский как-то переменялся, глаза загорелись, он стал повторять: “О, это прекрасно, это мистика, это Египет, это кошка, кошка, это мистика, это Египет, это арабское”. И таким он запомнился мне навсегда».

«Какие черты своей поэтики вы определяете как новаторские?»

«Новаторством, я думаю, можно считать мои круголеты: “Тьма, тьма, тьма, тьма, тьма”. Кажется, Хлебников делал что-то подобное, но точно такого еще никогда не было».

На трамвайной остановке – никого. Лишь ветер играет с прошлогодними листьями пожухлыми. Лишь вечер разыгрывает феерию на небе вечернем. В облаках тяжелого чугунового литья полыхает луч обоюдоострый, как будто огненный меч. Вонзается этот луч в длинное кирпичное здание университета, что лежит на земле красноватым чудовищем. И кажется – вот-вот зазмеится оно, зашипит: «Тьма, тьма, тьма, тьма, тьма».

«Что за круголеты такие?» – поеживается Ксенечка от холода.

«Это когда “тьма” на лету превращается в “мать”, – берет ее за руку юноша Бесплотных. – В принципе, похоже на палиндром. Палиндром – это зеркальный текст, когда все равно, как читать – слева направо или справа налево. Это слияние двух миров – Христа и Магомета. Это Запад, отраженный Востоком. У Хлебникова есть поэма о Степане Разине, написанная палиндромами: “Не мерь, ремень, меня – я нем”. Сейчас палиндромщики свой журналчик издают – “Мансарда”. Там встречаются занятные перевертыши: ум за рамки – и к маразму. Хотя лучше Державина все равно никто не сказал: я иду с мечем судия».

«Но круголеты – это что-то другое, таинственное, непонятное. Здесь слышится какое-то шаманское бормотание, какое-то волхование непостижимое».

«Конечно, конечно, – торопливо соглашается юноша. – Вообще, этот круголет про “тьму” гениален. Это ведь философия китайская получается. На Востоке есть такое понятие *инь*. Оно одновременно означает и тьму, и землю, и луну, и женщину. И вот поэту удалось в одном слове выразить всю мистику иня, всю мистику Матери сырой земли. Он бормочет одно, а мы слышим другое – подспудное, родовое. Мне кажется, его потому и любят на другой стороне земли, что он предстает там этаким колдуном, провозвестником темных истин. Запад потому так тянется к Востоку, что давно утратил эту подлинность языка. Там кругом диковинные игрушки разума, диковинные игрушки прогресса, а хочется настоящей небесной птицы, настоящего полевого зверя или настоящего змея».

Ай, в март летел трамвай.

Наследники Чингисхана

Информационное сообщение ТВ «Аль Джазира» (Катар)

В результате американского ракетно-бомбового удара по Багдаду была сожжена Национальная библиотека, где хранились уникальные раритеты всемирного значения, в том числе древнейшие памятники вавилоно-ассирийской цивилизации. Взамен этим ценностям библейских времен американцы пообещали подарить иракскому народу современные книги о свободе.

Директор Национальной библиотеки сравнил оккупационные войска с дикими ордами Чингисхана, которые варварски разграбили и разрушили эту культурную столицу Востока. Он также напомнил, что в свое время один арабский завоеватель, уничтожая знаменитую Александрийскую библиотеку, заявил нечто подобное: «Если книги в этой библиотеке противоречат Корану, они вредны. Если не противоречат, они бесполезны».

Война в Эдеме

«Эдем находится в Междуречье, – говорит юноша Бесплотных. – Там растет дерево мысли. Там живет тот самый змей, что выращивает на дереве запретные плоды раздумий. Теперь они бомбят Эдем. Они сжигают огнем дерево мысли. Им кажется, что они смогут убить змея и посадить там дерево свободы. Однако змей живет не только в раю. Змей обитает прежде всего в душе. Но они все равно пытаются бомбить. Представляешь, залетает в душу самолет-невидимка и беспорядочно сбрасывает бомбы на розовые грезы и мечты. Это похоже на бессмыслицу. Они воюют сами с собой».

Над Васильевским островом стоит тишина – прямолинейная, звонкая, с серебряным отзвуком. Весенний дождь равномерно стучит по линиям, по жести. Тишина медленно заполняет темную мансарду, как вода. Ее уровень достигает верхней отметки сердца. Юноша Бесплотных обнимает Ксению – они лежат, обнаженные, укрытые тишиной.

«Мне иногда кажется, – говорит Ксения, – что земля и небо поменялись местами. Мы с тобою валяемся на облаках в мансарде и балдеем, и никому не должно быть дела, где мы, что мы, куда мы и зачем. Мы уплели свое яблоко и узнали друг друга. К чему нам это ужасное небо, откуда сыпется всякая гадость?»

«Ты права, ты даже не знаешь, как ты права! – целует Ксению юноша. – Все давно поменялось местами. Философия моря и философия земли так долго воевали друг с другом, что наконец погибли, исчезли, растворились. Пришла философия неба, и Бог бежал из Эдема, куда вторглись бомбардировщики Апокалипсиса. Он поселился внизу, среди нас, потому что теперь в раю темно, и взрывы гремят, и вспыхивают сполохи пламени, и сбитые ангелы падают наземь».

Ксения зажигает свет, и дождь становится тише, хоронясь за углом темноты. Она идет к плите, ставит чайник серебра, нарезает бутерброды с пошехонским сыром. Бесплотных

нежится в облаках: «Вот и случилось то, что должно было случиться. Не понадобились ни маска козлотордая, ни старая сводница, ни прочие ухищрения. Как мало надо для любви – дождик, убогая мансарда, нежность».

Мансарда действительно выглядит убого – старая тахта подперта кирпичом, пустые стеллажи припорошены густой пылью, на столе китайская вазочка украшена засохшим цветком. Единственный предмет, достойный внимания, – старинное зеркало, обрамленное золоченой вязью. Ксения причесывается, изучая собственное отражение:

«Мне иногда кажется, что зеркала имеют память. Они запоминают все, что происходит вокруг. И чем стариннее зеркало, тем больше разных лиц оно зафиксировало. Когда-нибудь люди изобретут суперкомпьютер. Это будет кайфово – вставляешь туда зеркало и сканируешь зеркальные отражения, как фотки. Я бы тогда собрала альбом, чтобы посмотреть всю историю зеркала. Вот сейчас в нем отразилась наша любовь, а сколько всего было до нас, сколько всего будет после – ужас!».

«Я больше тебе скажу, – отзывается юноша. – Были времена, когда люди воевали за то, чтобы не допустить чужого отражения. У Вадима Сергеевича Шефнера есть стихотворение про зеркало, которое висит где-то высоко на уцелевшей стене разбомбленного дома. Знаешь, какую клятву произносит поэт? Он клянется, что враг никогда не отразится в этом блокадном зеркале. Увы, то был героический эпос. Сегодня такое невозможно – философия неба устраняет всякие преграды, всякие границы».

«Значит, в зеркале должен отразиться Бог».

Сонетка

Граница между космосом и хаосом обозначена двустворчатой дверью, над которой висит старинная сонетка – медный колокольчик с рычажком. Рычажок находится за дверью, в области неведомого пространства. Из пространства проступают несколько туманных фигур, о чем-то шепчутся и дергают за длинный рычажок. Сонетка заливается чистым бубенцом, и дверь в космос распаивается.

«Здесь живет Софья Казимировна?»

«Проходите».

Делегация робко следует за сатиновым халатом, обширным и обсаленным, по длинному изгибистому коридору, где громоздятся платяные шкафы наподобие египетских гробниц и белеют сырые простыни, как паруса византийских трирем. На кухне совершается таинство приготовления завтрака – скворчит сковородка с утренней яичницей, духмянется кофейник с густым золотым напитком. Небритый Обмолотов – помятая впросонках майка и брюки с полужастегнутым ремнем – поджидает делегацию, держа в одной руке картонную иконку с ангельским ликом, в другой – вилку с нанизанным огурцом:

«Хелло! Гутен таг! Привет!».

У кособокрой раковины делегация останавливается и внимательно разглядывает самоварную дырку, восклицая:

«Софья Казимировна!»

«Супервумен!»

«Гроссфрау!»

«Софья Казимировна!»

Обмолотов вкратце рассказывает про серые будни петербургского подполья, читает олейниковские стихи о тараканах и казнях и напоследок демонстрирует процесс утайки запретных предметов, при этом нечаянно засовывает в дырку огурец.

«Сдурел! – визжит сатиновый халат. – Куда ты со своим немытым огурцом лезешь?»

Обмолотов извиняется и направляет в дымоходное отверстие ангельский лик. Делегация хлопает в ладоши, фотографируется на память и благодарит хозяина, оставляя на кухонном столе белый конвертик вожделения.

Дверь в космос захлопывается, и сатиновый халат в мгновение ока оказывается на кухне: «Сколько?».

«Сто. – Обмолотов, опустив глаза, невинно ковыряет яичницу. – Сто рублей за визит, как и договаривались».

«Не ври! – Сатиновый халат, пылая праведным гневом, обыскивает брюки и вынимает из заднего кармана заначку. – А это что? Сделал из меня привратницу, да еще и обмануть пытаешься!»

«Тебе до настоящей привратницы еще расти и расти! Вон перья по коридору до сих пор летают!»

История с перьями произошла в день открытия туристического маршрута «Тайный Петербург». Поначалу все шло как по маслу: туманные фигуры то и дело возникали в неведомом пространстве, сонетка то и дело звенела над дверью, ангельский лик то и дело исчезал в темной бездне.

К вечеру поток фигур иссяк и Обмолотов, подсчитав выручку направился в магазин. «Куру купи! – крикнул вдогонку сатиновый халат. – Синявинскую куру, слышишь!»

В магазине на Литейном проспекте Обмолотов ненароком столкнулся с Ермаковым. Тот стоял у витрины, осиянной морозными огнями неона, и печально смотрел на куропаток. Маленькие птицы лежали вповалку, блестя пестроцветными крыльями. «Курган куропатковой славы, – думал Ермаков. – Последний акт платоновской утопии».

Тут его окликнул Обмолотов.

Битый час Василий Иванович похвалялся своим «дырявым» проектом, рассказывая подробно, как родилась идея самоварной дырки, как сочинялась ее многострадальная история, как устраивался ее юбилейный вечер и как славно зажил Обмолотов, поскольку от пилигримов теперь отбоя нет. «За Софью Казимировну Дырку!» – дурачился он, опрокидывая очередную рюмку водки.

Ермаков молча слушал, и рубец на его щеке постепенно багровел. «Вот что я тебе скажу, Васечка. – Он взглянул на Обмолотова исподлобья. – Креста на тебе нет, вот что я тебе скажу. Твоя дырка – это профанация свободы, и больше ничего».

«За профанацию мне деньги платят, – парировал Обмолотов. – А кто заплатит мне за свободу? В конце концов, имею право – мы с Софьей Казимировной тоже за нее боролись!»

Ермаков остолбенел: «Чего-чего? Да ты ж в своей дырке, кроме бутылки, ничего никогда не прятал!».

Витрина по-прежнему сияла морозными огнями неона.

«Жена сказала к-куру к-купить, – икал Обмолотов и пошатывался, – с-синявинскую».

«К-кура – это профанация к-куропатки, – икал Ермаков и покачивался. – Хоть раз в жизни соверши п-посту-пок – возьми настоящую п-птицу. Воздастся сторицей. Обжаришь дичь в масле, обложишь маслинами с лимончиком и запируешь с-сиракузским тираном».

Три куропатки поднялись в воздух, три куропатки упали на стол.

«Ну, и что я буду с этим делать? – сатанел сатиновый халат, перебирая маленькие тушки, принесенные из магазина. – Что я буду с этим делать?»

«Обжаришь в масле с, – продолжал икать и пошатываться Обмолотов, – сиракузским тираном».

«Я сейчас из тебя сиракузского тирана сделаю!» – Халат вооружился куропаткой и стал угрожающе приближаться. Обмолотов попятился к выходу, над которым испуганно закачалась сонетка, и распахнул дверь. Куропатка, шумя пестроцветными крыльями, пролетела над при-

гнувшимся Обмолотовым и вырвалась в ночной хаос. В хаосе неожиданно-негаданно высветился припозднившийся пилигрим:

«Здесь живет Софья Казимировна?»

Однако расслышать ответ он не успел – огромная неизвестная птица внезапно атаковала его, сбила шляпу и осыпала мелкими перьями.

«Перл Харбор!» – ужаснулся пилигрим и грохнулся наземь.

Сонетка гремела набатом.

Ермаков

Ермаков. Дивные дела творятся в городе на Неве. На днях я встретил нашего старого приятеля Обмолотова. Оказывается, его посетила невероятная мысль объявить свою самоварную дырку таким тайником. Он придумал ей конспиративную кличку, сочинил несусветную историю подпольной борьбы за свободу, и теперь к нему валом валят любопытствующие иностранцы поглазеть и сфотографироваться на фоне достопримечательности, засиженной тараканами. Я честно сказал Обмолотову, что это – полная чушь и профанация. Ты знаешь, что он мне ответил? Он сказал, что ему платят за профанацию, а не за свободу.

Фуражкин. Я знаю больше. Я был на юбилейном вечере Софьи Казимировны Дырки, и там всерьез обсуждался вопрос о том, чтобы избрать ее почетным гражданином Петербурга. Я не сомневаюсь, что городское собрание отнесется к ее кандидатуре благосклонно. Ну а если попросит губернатор, тогда вопрос вообще можно считать решенным.

Ермаков. Я не поклонник ныне принятой фразеологии, но это – бред сивой кобылы. Это какой-то абсурд.

Фуражкин. Я не считаю это бессмыслицей. Как ты помнишь, в одном из своих трактатов Платон уподобил наше печальное бытие пребыванию в некоей пещере, которая имеет большое отверстие для света. Люди, живущие в пещере, закованы в железные узы, и видят только тени от происходящего наверху. И вот однажды людей освобождают от оков и силком ведут по крутому склону к выходу. У них с непривычки болят ноги и глаза тоже болят от нестерпимо яркого света. Они всячески проклинают своего освободителя и готовы бежать назад, в привычную темноту. Но постепенно они приучаются смотреть – сначала на тени, на зыбкие отражения предметов, на звезды, мерцающие в ночном небе, и только потом – на солнце истины. Так вот, не кажется ли тебе, что Обмолотов преобразил самоварную дырку в ту самую пещеру прошлого? Не кажется ли тебе, что он вовсе не печалится о железных узах, но высмеивает тех, кто стремится назад, в темноту?

Ермаков. Ты перечислил четыре духовных состояния на пути из темной пещеры к солнечному постижению. Но ты забыл о пятом состоянии, которое также подметил Платон. Он имел в виду состояние человека, который познал солнце и вернулся в пещеру к несчастным узникам, чтобы вывести их к свету. Этот человек, конечно, стал бы говорить об истине, но его подняли бы на смех, признали бы сумасшедшим, а если бы он попытался разбить железные узы, его просто убили бы. На самом деле Обмолотов потешается над солнечным человеком, который вернулся в темноту. Он глумится над спасителем.

Фуражкин. Это произошло потому, что до этого в пещере уже побывал другой спаситель, другой солнечный человек. Он тоже пообещал людям свет. Они поверили и пошли за ним по крутому склону. По дороге одни умерли от истощения, другие были убиты – за призыв вернуться назад. Наконец скончался и сам солнечный человек, его похоронили с почестями и стали думать, что делать дальше. Тут явился новый солнечный человек и сказал людям, что раньше они шли не туда, что солнце истины находится в другой стороне, а это отверстие ведет к ложному солнцу. И стал толкать измученных людей в ином направлении. Так вот, не кажется ли тебе, что этот солнечный человек Платона очень похож на солярия Кампанеллы, который,

нисходя в пещеру нашего печального бытия, зовет нас в город солнца, а приводит каждый раз во тьму пострашнее изначальной? Не кажется ли тебе, что мы блуждаем по лабиринту? Не кажется ли тебе, что Обмолотов насмехается над всяким солнечным человеком, зовущим нас в очередную дырку этого нескончаемого лабиринта?

Ермаков. Кампанелла – это профанация Платона, и больше ничего. Платон, скажу тебе, мыслит категориями небесной любви и красоты, а Кампанелла видит в любви одну пошлятину да насилие – не случайно этот извращенец сживал на колу. Поэтому одно дело – высмеивать солярия Кампанеллы, и совсем другое – глумиться над солнечным человеком Платона, под которым подразумевается, между прочим, Сократ – платоновский двойник. Если соглашаться с тобой, то следует признать Обмолотова абсолютным нигилистом и киником – похлеще Диогена. Но тогда пусть сидит в своей дырке, как в бочке, и не занимается профанацией свободы.

Фуражкин. Да он и так сидит в ней, только вот не заниматься профанацией он не может – из-за самой банальной нужды. Стал бы он ею заниматься, если бы ему платили за свободу? К тому же свобода предполагает в том числе и профанацию как таковую. Причина же кинического насмехательства Обмолотова, я думаю, в другом. Его, не спросив, в очередной раз силком потащили к свету, да еще по дороге ободрали как липку, а ему как раз было покойно в железных узах, ему было тепло и сытно. Он был счастлив тем, что мог втихаря подтрунивать над умершим солярием – мол, обещал быть живее всех живых и вот отдал Богу душу. Не кажется ли тебе, что насилие не оправдывается никакой свободой, никакой любовью? Не кажется ли тебе, что и то и другое тут же исчезает, как только появляется насильник, пусть даже самый доброжелательный и благообразный с виду?

Ермаков. Ты хочешь сказать, что в таком случае мы будем вечно сидеть в темной пещере, благословлять железные узы и радоваться теням, проходящим в высоте?

Фуражкин. Я хочу сказать, что в противном случае тебе придется согласиться, что солнечный человек, жалея какой-нибудь народ, заточенный в пещере, силою должен освободить его от железных уз. Тебе также придется оправдать и нынешние бомбежки Эдема, с помощью которых думают достичь свободы и счастья в этом уголке земли.

Ермаков. Я полагаю вообще невозможным устройство всеобщего счастья здесь и сейчас. Это достигается лишь путем обожения человека, и Платон был в некотором смысле предтечей христианства, когда говорил о трудном движении по духовным ступеням вверх, к идеальному и божественному. Недаром его изображение появляется среди других ветхозаветных пророков на Рафаэлевой фреске в Ватикане, где философ указывает в горние выси, на свет Божий.

Фуражкин. Вот и выходит, что в нашем пещерном бытии Платон пролагает тернистый духовный путь к постижению истины, а наш старый приятель, в конечном счете, профанирует самого философа, откровенно потешается над искоркой Божьей в человеке. Он ведь опускает ангела в темную бездну не тайком, не украдкой, а святотатствует демонстративно, перед лицом всего мира. Обязательно найдется какой-нибудь ревнитель, который попытается воспрепятствовать этому дьявольскому поруганию.

Ермаков. Дьявол – это профанация Бога, и больше ничего.

Кандидат № 1

Загадка в «Вечерней газете»

На днях в нашем городе состоялся необычный социологический опрос. Городской умалишенный Багдадов явился к Маршинскому дворцу в костюме сивого мерина с надписью на груди «Кандидат № 1». В руках Багдадов держал плакат, на котором была начертана следующая программа:

Программа сивого мерина

1. Каждому коню пальто.

2. Старый конь борозды не портит.
3. Полцарства за коня.
4. Ходи конем.

Каждому из депутатов городского собрания, направляющихся на заседание в Маршинский дворец, Багдадов предлагал ответить на вопрос: «Если вас очень попросят, вы выберете сивого мерина?». Голосовать надо было оранжевыми шариками, опуская их в одну из корзин с надписями «да» и «нет». Стражи правопорядка, которым Багдадов был хорошо известен, препроводили городского умалишенного в отделение милиции, где занялись подсчетом оранжевых шариков в корзинах. Угадайте, как проголосовали депутаты?

Инсект Мурий

Когда тьма наступает подлунная и луна сочится из крана тонкою струйкой медовой, выходят из самоварной дырки тараканы и на пир ночной шествуют. На том пиру кутерьма царит и веселье: рыжие усачи по столу скачут наперегонки, грациозные шестиножки в вазах вальсируют, юные прусачата на сковородках выкаблучиваются. Но вдруг вспыхивает на кухне нестерпимо яркий свет, и конец празднеству – разбегаются тараканы куда глаза глядят. Только один великан – черен, как ворон, рогат, как бык – на закопченном потолке созерцает мир вверх ногами.

«Инсект петербургский и ладожский Мурий», – представляет юноша Бесплотных великана.

Великан шевелит могучими усами, приветствуя студентов.

«Симпатичный инсект, – находит студент Лебедев, – тараканий философ, видать. Вон как расположился мечтательно. И света не боится – привык».

«Дайте швабру, – морщится студент Никифоров, – я этого философа смахну оттуда».

В комнате Бесплотных вечеринка затянулась за полночь. На трехногом столике пенятся бокалы красного молдавского вина, слезятся золотые полоски сыра, черствеют карельские горбушки с изюмом. Откупоривает Никифоров очередную бутылку:

«Отчего тараканов прусаками прозвали? Неужели с давних пор так прусаков ненавидели? Откуда такая нелюбовь к храбрым рыцарям средневековья?».

«Есть у меня одна теория, – подставляет бокал Бесплотных. – Дело в том, что тараканы, которых еще называют прусаками, – это заколдованные русские витязи. По предашло, они происходили от некоего Пруса и обладали колдовскими знаниями. Умели обращаться хоть в серых волков, хоть в сизых орлов, хоть в мелких мурашиков. Конечно, все эти мурашики, все эти прусаки – метафоры древнего мифического сознания. А в действительности голодная варягорульская дружина, возглавляемая, скажем, Ильей Муромцем, становилась в славянской деревне, подчищала все, что было припасено в избушках, и щедро расплачивалась. Народная примета говорит: много прусаков в избе – значит, к богатству, к прибыли, к достатку. Ничего случайного не бывает. С чего бы таракану служить олицетворением золота?»

«Ну вот, приехали, – Никифоров делает большой глоток. – Могучий богатырь Илья Муромец оказался тараканом. Это случайно не он у тебя в кухне на потолке сидит?»

«Почему бы Илье Муромцу не стать инсектом? – ничуть не удивляется Лебедев. – Известно, что в природе происходит круговорот душ. Вон Платон еще писал, что душа певца переселяется в соловья, а душа Орфея – в лебедя. Так что у меня – орфическая фамилия».

«Ну а моя фамилия победоносная, – приподнимается Никифоров. – Дайте швабру, пойду на кухню сражаться с Ильей Муромцем».

«Не тронь философа! – умоляет Лебедев. – Философ – это святое. У него душа имеет крылья, он видел свет истины».

«Этот инсект был плохим философом, иначе его не приговорили бы к тараканьей жизни. Дайте швабру!»

«А может, он исправляется. Может, он согрешил в первой жизни и теперь в другой жизни грехи замаливает, молится на свет Божий».

«Какие могут быть грехи у Ильи Муромца? Он же причислен к лику святых! Его же мощи в Киево-Печерской лавре лежат!»

«Есть один грех, – вмешивается в перепалку Бесплотных. – Илья Муромец убил поэта, убил Соловья – славянского Орфея».

Тонкою струйкой медовой сочилась из крана луна, утекала в кособокую раковину, таяла. Восковым был рассвет, туманным. Завершился пир ночной, отшумели споры бессонные. Уходили студенты на занятия – жадно пили луну из-под крана и завязывали шнурки непослушные на кроссовках. Долго шуршали кроссовки по гулкой лестнице.

Инсект петербургский и ладожский Мурий думал.

Пустошка

На площади Двенадцати Коллегий нет прежней пустынности и гулкости – посередине новый памятник зеленеет медью. Как будто вышел из темного леса горбатый старичок-лесовичок, взобрался на кочку болотную и чуть не упал от изумления – ноги подкосились и на пенек оперлись обомшелый. А чему изумился старичок-лесовичок, неведомо: то ли солнышку ясному, то ли приволью голубоглазому, то ли статуйке своей колченогой – какой умелец слепил такое чудо?

«Кикимора зеленая!» – спешит мимо статуйки студент Никифоров.

«Лешак лысый!» – поспешает за ним студент Лебедев.

«Вожак демонической фауны! – заключает юноша Бесплотных. – Занесен в красную книгу и охраняется государством».

Старичок-лесовичок никак не отвечает на змеиные шепотки. Только тощим животом поводит и ногою кочку болотную нащупывает – здесь ли твердь земная?

Славная профессорша Пустошка – короткие волосы на голове дыбом стоят, огромные серьги в ушах тимпанами гремят – врывается в аудиторию вихрем, императивным и буйным. Полы пиджака алыми крыльями выются, роговые очки грозными молниями льются. В общем, не профессорша, а настоящая богатырша – опасная оруженосица ученого звания. Лекцию читает, что полком засадным командует:

«Сегодняшняя тема: происхождение слов. Этим занимается наука ороксология, то есть восточно-западное доказательство. Запишите эпиграф из халифа Мансура – Багдад. По-русски это слово означает – Бог дал. В 762 году халиф основал на берегах Тигра новую столицу великой арабской державы. Он посчитал, что ему это дал Бог. Так и назвал город. А вот что вам Бог дал, покажет экзамен».

Весь академический час марширует Пустошка около доски, где время от времени появляются отдельные слова, как пугливые мордочки лисьи из утреннего тумана. Аудитория поскуливает тоскливо, по-щенячьи. Лебедев сидит, как на жердочке, воробьиным носом поклевывает, а Никифоров с богатырского размаху вечным пером, точно шелапугою, мечет.

«Какая умница эта Пустошка! – восторгается юноша Бесплотных. – Ничего не сказав, сказала все. Это она так концепцию вольного ветра отстаивает. На днях Сам призывал защитить русский язык от иностранщины. Но язык небесен, имеет душу ветра и не знает границ. Господа Бога с людьми и чертогом от персов наваяло, древнюю избушку с витязем и стрелой – от скандинавов, а хлев с котелком – от готов. Такова русская роза ветров. Таков великий и могучий русский язык – словцо у Коцебу, стих целый из Вольтера. И никаких сомнений, никаких тягостных раздумий».

«И последнее слово “одр”, – диктует Пустошка. – Происходит от скандинавского “etar”. Лебедев, проснись! На смертном одре будешь поживать! Лекция закончена. Ать-два».

У памятника старичку-лесовичку «джип» останавливается. Юноша Бесплотных, стоя у запыленного окна, любуется автомобилем, на черном боку которого серебрится название Международного юбилейного фонда – «Незабываемое торжество». А за тонированными стеклами неизвестность укрылась, терпеливо кого-то дожидается. И вдруг – откуда ни возьмись! – славная профессорша Пустошка лихо вскакивает на подножку, хлопает дверцею, и несется автомобиль по прямым Васильевским линиям.

Куда ты мчишься, черный «джип» – снаряд дорожный, иноземный, железным схваченный винтом? Собрал тебя расторопный японский мужичок с локоток, да не на скорую руку, не тяп-ляп, вот и вышел корабль, а добросовестно, с умом и компьютерным разумом. И не в кирзовых сапогах водитель, а в галантных итальянских сапожках жмет на педали и жизни искрометной радуется – только солнце блестит на дисках, только дорога шелестит зернистою лентою, да глядит вослед застывший в изумлении старичок-лесовичок, завидуя высокому полету и зеленея тоскливой медью. Куда же ты несешься, черный «джип», на крыльях свободы и пятой скорости?

Старик емшан

«Кто имеет медный лоб, тот имеет миллион, как Тутанхамон», – мурлычет про себя Киргиз-Кайсацкая, летя в черном «джипе» с трехцветными федеральными значками. Песенку эту написал старик Емшан – благородный рыцарь, по четвергам возглавляющий независимое движение «Рокеры против наркотиков». Правда, злые языки именуют это движение не иначе как «Пчелы против меда», но старик Емшан всегда тверд и непреклонен в своих устремлениях, будто шприц, заостренный на посиневшую вену. Он стоически проповедует здоровый образ жизни, слегка обнадеживая больных друзей:

Степной травы пучок сухой,
Он и сухой благоухает!

Старик Емшан был наставником гламурной Гульнары – юной дочери Киргиз-Кайсацкой. Об ином наставничестве рассказывают непристойные басни. Но не таков благородный рыцарь Емшан – талантливый выпускник свободолобивого Невского проспекта и близлежащих подворотен. Поутру приходит он в книжную лавку как завзятый филобибл и закликает: «Автомедонт, уведи меня в кущи блаженства!».

Ясное дело, уводит его Автомедонт в букинистические кущи, где звучат амурные вирши и поются египетские песенки, а благочестивый Аретино, облачившись в черную сутану, подслушивает за узорчатой дверью откровения двух куртизанок: «Как-то мне пришла фантазия научиться бренчать на гитароне, не потому, что мне это нравилось, а потому, что мне хотелось казаться женщиной, которая интересуется искусством. Ведь это лучший капкан для ротозеев, если девка отличается еще и каким-нибудь артистическим даром».

Бренчит семиструнная гитара в зимнем саду Киргиз-Кайсацкой – гламурная Гульнара обучается мусикийской гармонии. Старик Емшан, закрыв очи, отстукивает такт башмаком. «Кто любит, тот любим, – вьется в воздухе юный голосок, – кто светел, тот и свят». Струится голосок мимо зыбких растений зимнего сада и, взметнувшись, разбивается в серебряные дребезги у самых ног Киргиз-Кайсацкой. Умиляется Киргиз-Кайсацкая семейной идиллии, любуется издали стариком Емшаном: «По профилю он, конечно, слесарь, но зато анфас – ну чистый кесарь».

И действительно: огненные волосы, собранные в высокий гребень, напоминают старинный шлем, украшенный перьями, и придают рокеру вид сурового римского воина. Впрочем, по паспорту его так и зовут – Воин Георгиевич Емшан.

По четвергам «рокеры против наркотиков» собираются в кафешке на слякотной Лиговке – там, где змеятся в тумане вечерние поезда Московского вокзала. Попивают рокеры балтийскую шипучку и лениво, вполуха слушают златокрылую поэму Бордюрчикова про ангела, который сидит на Петропавловской игле триста лет и вот-вот низринется, обколотый, в невольские глубины. И лениво, с кривой улыбочкой разглядывают гламурную Гульнару Киргиз-Кайсацкую, что медитирует медиатором с грехом пополам. А потом поют нестройным хором емшановскую песенку про медный лоб миллионера. И такая тоска гремучая, такая безысходность великая сквозит в каждом звуке, что чудится – выйдут они сейчас на слякотную Лиговку и всей толпой, неприютной и неприкаянной, постригутся то ли в схимники, то ли в скинхи.

Закон Нумбакулы

Еще на слякотной Лиговке есть рок-магазинчик «Костыль», где продаются модные прибалтасы – черные куртки, отделанные косыми молниями и заклепками, черные футболки, отгиснутые желтыми черепами, стальные подвески в виде гробиков со скелетами. «Жизнь отстой, – философствует рокер, – а смерть навсегда». У магазинчика пацаны дурачатся – невпопад пасуют друг другу маленький мешочек:

«Гей, Фома!»

«Гей, Ерема!»

Испуганно шарахаются в сторону прохожие, когда летит через улицу мешочек, где не мелкая свинцовая дробь погромливает, но обыкновенная перловая крупа. Впрочем, пугаются они не мешочков, а воинственного обличья ходячих мертвецов, украшенных железной символикой смерти. Этим свирепым «готам» – глаза подведены черным, ногти намазаны черным, а гребень драконий зализан набок – не хватает только солдатского котелка на ремне.

«Солдатский котелок – весьма удобный сосуд, – рекламирует старик Емшан священную утварь древних германцев, – здесь можно хранить пучок степной травы». Иногда же облачается старик Емшан в оранжевую куртку-кенгурушку и рассказывает пацанам об австралийском племени акильпа, таинственно исчезнувшем в пустынях пятого континента.

Легенда об акильпа

Верховным божеством племени акильпа был Нумбакула. Он создал первого человека – первого акильпа, научил племя охотиться и ловить рыбу, строить шалаши и разводить огонь. Он установил для акильпа строгие правила жизни – кому поклоняться и кого бояться, куда следует идти, а куда – ни шагу. Затем Нумбакула срубил дерево и соорудил из него столп истины. По этому столпу он взобрался на небеса и поселился там, наблюдая с заоблачных высот, как акильпа соблюдают его божественные законы.

Акильпа остались без предводителя и не знали, что делать. Раньше Нумбакула безошибочно приводил их к густым чащам, где гнездились птицы, к быстрым рекам, где водилась рыба. А теперь никто не представлял, куда направляться – на север или юг, на восток или запад. Неожиданно столп накренился, и акильпа догадались, что это Нумбакула подает с небес добрый знак – показывает им дорогу. Мужчины взвалили бревно на плечи и двинулись в путь.

Многие годы акильпа кочевали по земле и всюду носили с собой столп истины, с помощью которого они поддерживали связь с небесами и своим божеством. Придя на новое место, они устанавливали столп посередине, украшали его зелеными ветвями и совершали жертвоприношения. А потом, когда наступала необходимость, просили его показать верную дорогу.

Но однажды случилось непоправимое. Одряхлевший от времени столп рассыпался на куски, и акильпа вновь оказались на распутье. В полной растерянности они уселись на корточки вокруг обломков и стали дожидаться смерти. С тех пор о племени акильпа никто ничего не слышал.

«Закон Нумбакулы гласит, – старик Емшан поднимает кверху указательный палец, – каждый народ тащит на себе свое бревно. Если оно разрушается ветром или пожирается огнем – народ погибает. Сегодня мы с вами сидим на пепелище, глядим на черные головни идей и безнадежно загибаемся. Но я говорю: гей, акильпа! Давайте разыщем свой столп истины и украсим его зелеными ветками жизни! Давайте устроим субботник мысли!»

Так появились на сумрачных петербургских улицах оранжевые куртки-кенгурушки, которые жонглировали щепочками правды:

«Гей, акильпа Ерема!»

«Гей, акильпа Фома!»

Телефонная интермедия

«Слышала, Маша замуж за чеченца собралась?»

«О Господи!»

«Платок с головы не снимает».

«О Господи!»

«Питается объедками со стола».

«О Господи!»

«На рынке овощами торгует».

«О Господи!»

«Он так из нее шахидку сделает!»

Белый волк

В синих сумерках выходит Белый волк на охоту. Глухие питерские дворы – вот его долины. Кривые питерские подворотни – вот его ущелья. Темные питерские крыши – вот его небо. Вспышки ярой ненависти озаряют его мысли. Гремучие песни Паука отворяют его слух:

Ночь вернулась. Что случилось?

Но не спит никто во мгле.

Где ангел – ангел снов и мглы?

Здравствуй, друг. Я – добрый ангел.

Я могу тебя убить.

Белый волк – ровесник несказанной ярости, торжествующей на просторах распавшейся империи. По ночам снится ему детский сон о зеленом коридоре свободы: жаркая, душная мгла, нависшая над руинами, а между стонущими камнями – дорога, по которой спешат беженцы, и он с мамой спешит, увязая по щиколотку в жидкой, глинистой надежде. И старая баба Рая рядом спешит, и остальные, кто жил ту долгую бесконечную ночь в подвале разрушенного дома, пока кто-то не бросил сверху листовку: «Все, кто не покинет город, будут считаться террористами и будут уничтожены». Дневная мгла раскалывается грозненскими громами – идет минометный обстрел. Очередной взрыв раздается поблизости, густо смешиваясь с истошными криками. Невидимые куски железа свистят в воздухе над толпой, и мама остается лежать на этой жуткой дороге к счастью. «Вставай, мамин красавец, – плачет старая баба Рая, дергая его

за рукав. – Бежать надо, мы за мамой потом придем!» И все опять поднимаются, опять бегут к выходу, где дрожат зыбкие тени солдатиков и неясные спасительные блики.

Белый волк слышал, что Сам, пролетая однажды над зеленым коридором свободы, ужаснулся диким руинам и нестроениям. И тогда сказал Сам то слово сокровенное, святое, героическое, которое эхом отозвалось в сердцах жаждущих жить, жаждущих любоваться небом и солнцем, жаждущих мечтать о любви и тихой радости. Он сказал: «Война!».

И потому выходит Белый волк в сумерки на охоту – на запястье намотана стальная цепь, на ногах скрипят армейские ботинки – бесстрашный, белый, гордый. Начинается охота на задворках Сенного рынка, где сладок запах гниющих корнеплодов, где беззаботен шорох разноцветных оберток, где притаилось в сумраке заветное желание. А вот и торговец – веселый, цыганистый, сухоруконый. Постреливая взглядом, приглашает в сторонку, за темный угол подворотни, и протягивает пучок смерти: «Хорошая травка!».

Озирается Белый волк – никого вокруг, только поблескивают напротив чертовски насмешливые глаза. «Здравствуй, друг, – ухмыляется он в ответ. – Я добрый ангел. Я против наркоты». И расширяются глаза, оттененные внезапным испугом, и зыркают затравленно из стороны в сторону, и потухают в заискивающей жалобности и страдании, но слишком поздно, слишком поздно, слишком поздно. И пусть теперь до хрипоты зовут торговца подельники: «Иса, Иса!».

Он не откликнется.

И летит Белый волк на черных крыльях, отделанных косыми молниями и заклепками, мимо вечерних огней, отраженных в маслянистых разводах Фонтанки, мимо однообразных деревьев, по-армейски постриженных, – к новой весне, к новой войне.

Нарцисс

Зажигает юноша Бесплотных свою настольную лампу барбитос, подходит к настенному зеркалу, любуется своим тонким греческим телосложением, ощупывает крепкие, налитые молодой кровью, бицепсы на руке, словно проверяет на прочность и настоящесть: «Я не бесплотен!». А потом, устроившись на диване под пледом, раскроет небольшую книжечку, где три мудреца рассуждают о Нарциссе.

«Самодостаточность черного квадрата не грозит Нарциссу, – скажет один мудрец. – Собственное, удвоенное, а затем и бесконечно размноженное отражение приводит к гиперинфляции: сказки Шахерезады не просто повторяются, они записаны на пленку, склеенную в кольцо. Казалось бы, воплощенная нарциссическая утопия. С другой стороны – полное одиночество, нет никого вокруг, только плодящиеся знаковые манифестации».

«Мир навсегда утратил уникальное свойство необычного, рискованного и вызывающего, – вздохнет другой. – Начиная со времен Колумба и великих географических открытий все и в самом деле является открытым. Но открытость эта особого рода, обратной своей стороной она имеет замкнутость мира в себе, отсутствие сакральной географии».

«Мультикультурность – это очередная попытка заглушить несчастное сознание, – добавит третий мудрец. – Если человек, удостоверившись в комфорте, отказывается от прививки опасности, от плотка радикально иного бытия, то он теряет нечто существенное. Происходит измельчение рельефа, не формируются чистые состояния души, такие как настоящий гнев, настоящая радость, настоящая ярость».

Задумается юноша Бесплотных и, отложив книжечку, подойдет к окну. Темна набережная и пустынна – лишь один черный рокер, поблескивая молниями, стремится вдоль классических чугунных оград. «Милые смешные философы! – грустно улыбнется юноша. – По Белому волку тоскуют – господа!»

Заслуженный соловей

Заслуженный соловей Чудат – черная аристократическая бабочка, потертый джемпер шерстяной – шествует вечером в театр на собственную премьеру. В сумерках Гостиного двора киоскер предлагает ему яркие эротические журнальчики, где на обложках писанные красавицы в прозрачных кружевах блистают.

«Когда итальянец изобретал скрипку, он думал о мадонне, просиявшей под флорентийским небом, – осматривая журнальчики, вспоминает Чудат бородатый анекдот. —

Когда испанец изобретал гитару, он думал о сеньоре, блеснувшей в мавританском окне. А вот о чем, интересно, думал русский мужичок, когда изобретал балалайку? Среди волнистого поля наблюдал он звезду-девицу, облаченную в сарафан, расшитый медяками. В отличие от европейцев, он думал не о прекрасной наготе – его целомудренное воображение, отстраняясь от реальности, возносилось к высокой абстракции. Он улавливал в женщине главное – равнобедренный треугольник гармонии, пифагорейский конус красоты. Русский мужичок создавал свою музыкальную геометрию любви. Его балалайка – это невинная девушка в сарафане. Ну а скрипка с гитарой – это обнаженные девицы, сверкающие голыми лядвами, как на этих обложках».

И оставил Чудат журнальчики, противный.

Над театральным подъездом фонари цветут венецианской ярью. Под фонарями два поэта стоят статушками позеленевшими, а великий кумир Пушкин в отдалении бронзовеет – на гранитном пьедестале, в фиолетовом сумраке ветвей. «Единако дивную музыку сочинял Глиэр! – восклицает Поребриков. – Он обладал умственным зеркалом, мыслил отраженными видениями. Ему всегда был надобен образец высокой чистоты херувимской. Сей образец он возлагал на поставец и долго любовался им, а потом краски преобразал в ангельские звуки. Говоря кратче, Глиэр всю жизнь строил чудесную гармонию в квадрате».

В доказательство Поребриков указывает, что известную картину Репина композитор превратил в Запорожскую симфонию, богатырское полотно Васнецова – в героическую песнь про Илью Муромца, а композицию Медного всадника – в классический балет. Но – вот ирония судьбы! – он не предполагал, что когда-нибудь найдется верный продолжатель этого тонкого зеркального дела, который возьмет его торжественный мотив как образец для вдохновения.

«Скажи, Хоть, ты ведь наверняка знал о глиэровской методе? – приветствует Бордюриков приближающегося соловья. – Как пить дать знал – признавайся!»

Польщенный, Чудат скромно улыбается. Целый год он состязался с академиками, предложив депутатской комиссии собственные словеса к мелодии Глиэра, объявленной величальной песнью великому городу:

Дыханье твое Медный всадник хранит.

Академики же предложили комиссии пушкинскую поэму «Люблю тебя, Петра творенье!», несколько переделав ее под музыкальную фразу. Руководствуясь духом Дельвига, комиссия постановила, что поэму великого русского поэта переделывать негоже, утвердила представленные словеса и присвоила Хотю Годовичу Чудату звание заслуженного соловья.

Поребриков, поздравляя победителя, напевает незабвенную строчку и неожиданно раздражается тощим кашлем. Бордюриков сочувственно хлопывает приятеля по спине, извиняясь: «У всадника в зобу дыханье сперло».

Польщенный вторично, Чудат улыбается еще скромнее и обращается к афише. Тут его глаза сбиваются в кучу, а черная аристократическая бабочка сбивается набок. «Надули!» – кри-

чит соловей, исчезая в подъезде. Поребриков недоуменно глядит на Бордюрикова, Бордюриков недоуменно глядит на Поребрикова. Затем оба вперяют взгляды в театральную афишу.

К 300-летию Санкт-Петербурга

Величальная песнь великому городу

Премьера

Музыка *Р. М. Глиэра*

Слова *Л. С. Пушкина*

В Администраторской толстячок, сладкощекий и розовобровый, сидит за столиком и отбивает чеканную дробь барабанными палочками. «Не обращайтесь внимания, – предупреждает секретарша. – Иван Иванович с детства стучит. Он был лучшим барабанщиком в пионерском отряде. Его даже приглашали в симфонический оркестр».

«Надули!» – врывается Чудат в Администраторскую. Толстячок добарабанивает до конца энтузиастический марш Дунаевского и, отложив палочки в сторону, усаживает взволнованного соловья на диван служебных перестукиваний.

«Товарищ, успокойтесь! Я сейчас вам все объясню. – Он вежливо поправляет Чудату сбившуюся бабочку. – Товарищ, рассудите сами: музыка Глиэра, слова Пушкина – звучит? Еще как звучит! Ну а музыка Глиэра, слова, простите, Чудата – звучит? То-то и оно! Согласитесь, публика нас не поймет. Чего доброго, еще сочтет сумасшедшими. Вы ведь не хотите лечиться в больнице имени Скворцова-Степанова? Я тоже. Поэтому в наших общих интересах, чтобы на афише значилось другое, известное имя. Товарищ, не волнуйтесь: мы ведь знаем, что подлинный автор величальной песни – вы, а не Пушкин. У вас, должно быть, и постановление есть?»

«Есть, – выдавливают ошеломленный соловей. – Дома».

«Ну, вот и славненько. – Толстячок опять берется за палочки. – Ступайте, товарищ, домой, а завтра приходите с постановлением».

Под гранитным пьедесталом, в фиолетовом сумраке ветвей, сидят на скамейке друзья. «Радуйся, поэтиче! – успокаивает Поребриков окаменевшего Чудата. – Сам Пушкин сочетал свое славное будущее с тобой, когда пророчествовал: “И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет Хоть”. Это судьба, это промысл Божий! Твои стихи войдут в пушкинскую сокровищницу, аки смарагд или яспис».

«Да бесстыжий это промысл, а не Божий, – задрожав, шепчет Чудат. – Это не судьба, это катастрофа! Меня имени лишили одним взмахом барабанной палочки!»

И наводит Чудат дикие угорские взоры на великого кумира, что, осиянный нимбом, возвышается в сумрачной высоте Петербурга. И мерещится Чудату, что протягивает ему кумир дружескую руку и усмешается снисходительно: «Да ладно тебе, чудак! Читай лучше Лао-цзы!».

Стена девяти драконов

В воскресенье стоит Имялишенный у Стены Девяти Драконов, в китайском садике на Литейном проспекте, дожидается другого, Неизвестного никому. Играют перед ним в изумрудных волнах разноцветные керамические драконы, сверкая острыми гребнями и рогами. Рядом журчит источник, ниспадая по каменной горке в пруд, обложенный розовыми валунами с озера Тай Ху. На валунах, испещренных темными трещинками, сидит влюбленная парочка, беседует.

«Ты знаешь, отчего умерла Елена Генриховна? – спрашивает юноша. – Она не вынесла того, что ее не назвали по имени. Это случилось в Троицком театре. На сцену вышел поэт, сказал “дыр бул щыл” и ушел. Наступила гробовая тишина. “А мне нравится, – неожиданно сказал философ. – Здесь есть что-то дырявое, корявое, кучерявое”. А художник сказал: “Это значит –

дырой будет обрыдлое рыло дураков”. А поэт обиделся: “В моем дыре русского больше, чем во всех творениях Пушкина!”. И на том разошлись. А Елена Генриховна сидела в зале и ждала, когда прочтут ее стихи:

Ветрогон, сумасброд, летатель,
создатель весенних бурь,
мыслей взбудораженный ваятель,
гонящий лазурь!

Но никто ее не назвал, никто не прочел ее стихи. И она умерла – от безымянности».

Неизвестный никому живет за темными лесами, за глухими полустанками, на сотом километре, а в город приезжает лишь за тем, чтобы побывать в Публичной библиотеке – насладиться священными текстами «Дао дэ цзин» или «Чжуан-цзы». От зари утренней до зари вечерней бродит он по чащам непроходимым, по лугам некошеным, охотится за зверями полевыми, собирает плоды дольного прозябания, обретает невиданные цветы от духовных возвышенностей.

Лет двадцать назад, когда могучий олимпиец, держа в руке божественный огонь физкультуры, явился в полночную страну, привели философа, не известного никому, в милицейский участок и сказали: «Ты живешь неизвестно где, занимаешься неизвестно чем, называешься неизвестно как. Не поехать ли тебе неизвестно куда?».

И поехал Неизвестный никому на сотый километр русской свободы. За двадцать лет странствий Неизвестный никому преобразился: борода и волосы раскустились, брови повисли клоками, впавшие скулы покрылись морщинами, и лишь острые, стальные глаза сияли прежним, философическим блеском. Встречая Неизвестного никому на улице, всякий удивлялся: «Это – либо Пан, либо пропал».

А Неизвестный никому тоже удивлялся юбилейным новациям. «Представь, – говорит Имялишенному, – выхожу я из Пантелеймоновской церкви и вижу, что напротив, на том самом доме, где Гнедич сотворял русскую Илиаду, где Пушкин грезил египетскими ночами, повесили памятную доску: здесь, мол, жил да был некий корейский принц Джин. А про Пушкина и Гнедича – ни слова».

«Ты мне про Пушкина не говори, – бурчит приятель. – Он меня имени лишил, да еще посоветовал читать Лао-цзы».

«Милое дело – читать Лао-цзы! У него как раз в первом параграфе “Дао дэ цзина” говорится, что именуемое творит реальное бытие. Представь, что в египетской пустыне тыщу лет стоит пирамида».

Притча о пирамиде

Давным-давно великий фараон Джосер построил в пустыне Ступенчатую пирамиду и там после кончины поселился. За каменными стенами дул переменчивый ветер, и седые пески понемногу заносили строение. Со временем никто уже не помнил, не знал про усыпальницу – она незаметно потеряла имя и как бы перестала существовать.

И вот однажды в египетскую пустыню забредает некий ходок за три моря. Подходит к пирамиде, восторгается ее небесными величинами, мочится по привычке у подножия и ножом выцарапывает на священных камнях: «Вася».

Спустя годы другой путешественник, осматривая в армейский бинокль вечность, обнаруживает пирамиду, внимательно ее обследует и наталкивается на Васину надпись. «Доннер веттер! – изумляется. – Какое мощное сооружение построил здесь Вася!» Достает он карту египетской местности и пунктуально фиксирует расположение обнаруженного объекта, помечая его именем Васи.

Спустя еще годы является третий путешественник, находит по карте объект и, заку- рив беломоринку, прикидывает острым глазом, сколько времени понадобится разобрать эту Васину пирамиду, чтобы построить в намеченные сроки плотину. И с той поры нет в еги- петской пустыне никакой усыпальницы – только ветер дует над седьми песками.

«А ведь на самом деле, – завершает рассказчик, – это была не Васина пирамида, а гроб- ница великого фараона Джосера – культурное наследие человечества».

«Это ты к чему?»

«А к тому, что если на Стене Девяти Драконов написано “куй”, то это значит, что здесь всего-навсего побывал

Вася. В Эдеме, среди райских кущ, Адам только тем и занимался, что давал имена, а Господь присматривал за тем, правильно ли называет он птиц небесных да зверей полевых. С библейских времен человек метит пространство бытия разными именами, как зверь полевой метит территорию своего постоянного обитания. Поэтому неудивительно, что на Стене Девяти Драконов начертано неприличное словечко. Хотя в данном случае этот Вася был недалеко от истины: дракончики в Китае действительно называются “куями”. Но он об этом не знал и не думал – он лишь машинально пометил территорию. Все эти графити, все эти памятные доски с корейскими принцами являются только разметкой определенного пространства бытия, его сотворением и освоением. А дальше, через тыщу лет, кто-нибудь откопает на петербургских руинах кусок поименованного гранита и всерьез подумает, что здесь был славный восточный городок, в котором жил да был милый принц Джин. А потом найдет вот эту Стену Девяти Драконов и окончательно убедится в существовании Джинограда. И только Васина надпись несколько смутит его, возбудив мысль о диком нашествии вандалов и готов».

«Ну ты, Хоттабыч, даешь».

Постмодерный батюшка

Перед пламенным алтарем церковным поникли двое – молча, недвижно, смиренно. «Должно быть, калики перехожие, – думает юноша Бесплотных, замечая, как похожи эти двое друг на друга какой-то лесной косматостью, какой-то отстраненностью нищенской от мира сего. – Хотя откуда теперь калики? И главное – куда?»

Звучит первая песнь канона, повествуя, как встают стеною воды по правую и левую сто- рону, образуя сухой проход для беженцев египетских, а затем по мановению Господней руки смыкаются и ввергают в море колесницы и всадников всевоинства фараонова. «Вот и Петер- бург, – представляет юноша Бесплотных, – стоит между водяными стенами, а мы, как египет- ские беженцы, идем по сухому проходу и с отчаянием смотрим вдаль, на белый просвет, на прорубленное солнечными лучами окно в облаках, пока не взмахнет Господь рукою». И такой ясною становится эта картина городского движения между разомкнутых вод, что, выйдя на улицу, вглядывается юноша в облачные столпы над городом – не мелькнет ли огненная дес- ница в высоте?

А те двое, между тем, тоже выходят из церкви и, как по команде, одновременно расхо- дятся в разные стороны – один спешит на Литейный проспект, а другой назад, в Египет.

«Вот как!» – сожалеет юноша, что не может раздвоиться, и следует в былое, мерцающее за углом. Калика идет настороженно, как будто третьим глазом наблюдает беспардонного пре- следователя. И вдруг резко разворачивается, глядит в упор: «У меня ничего нет».

«А мне ничего и не надо, – отвечает юноша. – Мне просто интересно».

Отец Евлампий – съемщик убогого времени и пространства, обрамленного круглой печью и пыльным зарешеченным окном, – говорит, что монашествует в миру. Каждый угол его петербургского измерения необычаен и неповторим. В одном углу, на деревянной полочке,

стоят стоймя могучие резиновые спеченики – с красными рыбьими присосками, с двумя камушками яхонтами, вибрирующими как головастики. В другом углу светятся золотом иконы святых страстотерпцев, обретенные в окрестностях Средиземноморья. В третьем углу висят потемневшие портреты вчерашних вождей в рабочих кепках и без, а над ними поблескивает цветная фотография Самого – он сидит китайским Буддой и смиренно лепит глиняный горшочек. А четвертый угол пуст – ни полочек, ни изображений. Только под потолком тонкая паутинка струится, занавешивая некую темную прореху.

Отец Евлампий собирает на сто л вечерять – вареная картошка в мундире, нарезанный репчатый лук, окропленный горьковатым маслом, бутылка дешевого портвейна. «Это бормотуха, – предупреждает Евгений, взглянув на аляповатую этикетку – Это вообще нельзя пить».

«Можно! Еще как можно! – посмеивается хозяин. – Вот я сейчас молитовку сотворю, и преобразится бормотуха в дивное виноградное вино».

Сосредоточившись, он ворожит над бутылкой, и вино действительно становится густо-сладким и терпким. Осторожно смакует юноша обворожительный напиток – благодать!

«А что, батюшка, – интересуется Евгений, – что за инсталляции по разным углам расставлены – там фаллосы, тут иконы, там вожди, тут пустота в паутине?»

«А это, – говорит отец Евлампий, – это духовный путь наш от начала до дня сего – от языческих спечеников к святым мученикам, от святых мучеников к железным мечникам. А ныне опять к идолам – спеченикам железных мечников. У мучеников, вестимо, спечеников нет – они бесплотные и бесполое, как ангелы. А в четвертом углу – наше будущее».

«Что за будущее такое? – удивляется Евгений. – Разве возможно такое будущее, да еще с прорехами? Человек не может жить, только и направляясь в пустой угол».

«Может! Еще как может! Я хотел было поместить там фигуру огнекрылого ангела, да раздумал – не пришло еще время».

«Как не пришло?»

«Так – не пришло. Рано еще ангелу прилетать туда, где его не видят. Вот ты не обнаружил и возмущаешься. А чего возмущаться? Раз не увидел его изначально, так и при свечечке не разглядишь».

Отец Евлампий пьет, покряхтывает, Святым Духом закусывает. Вот уже и глазки замаслились любострастным блеском: «Ангелочек, – гузынит он протяжно. – Ангелочек!».

Вздрагивает юноша, как от ожога электрического: «А батюшка-то того! Ненастоящий батюшка-то!». И явственно видит он, как удлиняются влажные пальцы в осклизлые осьминожки щупальца, как растягивается гнилозубая улыбка в огромную смердящую пасть, как проступает на рубахе острый гребень позвоночника, когда батюшка, встав из-за стола, затепляет свечечку в пустоте.

Нонконформист Эш

«Мазурики! – из пустоты чертенком выскакивает очкообразный нонконформист Эш и натывается на Фуражкина. – Все разворовали! Абсолютно все!»

Фуражкин сочувствует безмолвно.

«Я хотел преподнести городу потрясающий презент. На его изготовление требовался сущий пустяк – всего ничего. А здесь, – нонконформист указывает большим пальцем на вывеску Международного юбилейного фонда, а затем ловко преобразует большой палец в дулю, – здесь мне предлагают жуткую натуру вместо денег! Куда же деньги подевались? Мазурики разворовали!»

Очкообразный нонконформист Эш работает кривым зеркалом. В зеркале отражаются дождевые облака, архитектурные сооружения, люди. Последние не просто отражаются, но сначала исчезают в зеркале, как в глухой черной дыре, а потом возвращаются оттуда чудовищными

кариатурами, над которыми следует потешаться, которых надобно уничтожать, как тараканов, поскольку они уже перестают быть людьми. Фуражкин, конечно, знал о зеркальных способностях нонконформиста, знал его пресловутую формулу: «Свобода – это я!», но почему-то старался быть с Эшем особенно вежливым и предупредительным, хотя тот и считал стоящую перед ним особь полнейшим ничтожеством.

«А внешне выглядит интеллигентом, – сочувствует Фуражкин безмолвно. – Правда, с несколько раздерганной бородкой».

Международный юбилейный фонд «Незабываемое торжество» возглавляет славная профессорша Пустошка.

«Мечтайте!» – то и дело призывает она горожан. Как ни странно, некоторые горожане относятся к этим призывам всерьез. Тихими петербургскими ночами они мечтают то восстановить растаявший некогда Ледяной дом императрицы Анны Иоанновны и устроить там круглосуточное бюро бракосочетаний, то привезти из Греции оливковые ветви мира и вручить жильцам коммуналок, взяв с них расписки о вековой любви, то подарить каждому чужеземному гостю хрустальный аквариум с золотой рыбкой, обладающей волшебными свойствами. В общем, несть числа их небывалым ночным мечтам, которые поутру превращаются в своеобразные проекты – зачастую с фантастическими чертежами и не менее фантастическими суммами. С этими проектами они устремляются в Международный юбилейный фонд – к славной профессорше Пустошке.

«Сарынь на кичку!» – гроыхает, к примеру, сапогами кошевой атаман Корнилов, пышноусый и золотопогонный. Уже лет десять он находится в поисках некогда утраченного знамени Семеновского полка. За сим и собирается посетить города Рим, Париж, Берлин, Лондон, Нью-Йорк, Мехико, Рио-де-Жанейро, Токио, Пекин, Дели, Тегеран, Иерусалим, Каир и Афины. Необходимо только оплатить командировочные расходы. Ознакомившись с перечнем мировых столиц, славная профессорша Пустошка осведомляется: «А где Катманду? В Катманду тоже надо бы съездить! Быть может, заветное знамя найдется в тибетских апогеях». И уходит кошевой атаман Корнилов, развеселый и обнадеженный, дополнять список городов.

Или, к примеру, куртуазно шевелит тапочками очкообразный нонконформист Эш: «Мадам, лично мне ничего не нужно. Я прошу вас только об одном – дайте возможность преподнести любимому городу потрясающий презент». Потрясающим презентом является трехсерийный фильм «Одна волшебная ночь Екатерины под телегой фельдмаршала Меншикова». Необходимо только оплатить четырехколесный реквизит, съемочные бдения да монтажные радения – всего-навсего миллион за каждую серию. Ознакомившись со сценарием, славная профессорша Пустошка уточняет: «А кто будет играть фельдмаршала Меншикова? Неужели вы? Ну, тогда я готова сыграть Екатерину Согласны?».

Фуражкин закрывает глаза, и светлая петербургская ночь возникает перед ним. Пылают на крепостных бастионах факелы. Огненные отблески колеблются на речной глади. А вверху, на золоченом острие, чистою слезинкой искрится ангел. Ровно в полночь внезапно срывается он с острия и медленно облетает город по кругу, пока струятся торжественные звуки и нарядные горожане, толпясь на набережных, громкими радостными криками приветствуют его.

«Ангел на ре-став-ра-ци-и! – прерывает чудесное видение профессорша Пустошка. – Его поворотный механизм износился. Правда, реставрация уже закончена, и он завтра вернется на яблоко Петропавловского шпиля. Однако ваш проект ангела, в юбилейную полночь кружащего над акваторией Невы, замечателен. Он преисполнен прекрасной поэзии. Но я никак не представляю его техническую сторону. Быть может, у вас имеются необходимые летательные расчеты и прочая небесная геометрия? Обязательно принесите! Мне хотелось бы взглянуть на механику вашего ангельского замысла, понять ее сокровенную суть. Ей-Богу, как же он полетит?»

«На крыльях мысли и вдохновения!»

Шестое доказательство

Информационное сообщение агентства «Новости» (Россия)

Профессор Башкирского государственного университета научно доказал существование Бога. Как сообщается, суть его открытия состоит в том, что любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. Затем профессор неожиданно для себя получил письмо из Ватикана от папы Римского, в котором говорится, что Его Святейшество посвящает ученому свои молитвы и очень ценит те чувства, которые его сподвигли написать эту монографию. Профессор-мусульманин отправился к Верховному муфтию России. Тот сразу ухватил главную мысль книги: «В Коране сказано: ^aАллах всякой вещи свидетель». Вы же доказали, что это так». Профессор перечитал Коран, Библию, Тору и удивился, насколько точно в их текстах обозначена суть его научного открытия. «Мысль материальна, – уверен ученый, – и ее можно мгновенно засесть из любой точки Вселенной».

Номерок

«Здесь!» – Он махнул рукой в сторону огромной воронки, зияющей на окраине Бамута. Была поздняя-поздняя осень, и деревья стояли пожухлые, с обнаженными стволами, изрешеченными осколками и пулями. Воронка успела обметаться опавшей листвой, и лишь кое-где по краям темнела тяжелая глинистая земля. Рослый густобородый чеченец, показавший место, молча отвернулся – за ним в сгустках вечернего тумана виднелись развалины.

Бамут казался мертвым селением. «Добро пожаловать в ад!» – гласила самодельная надпись над входом в полуразрушенное кирпичное строение, превращенное в неприступную крепость: окна были забаррикадированы мешками с песком, между мешками скалились амбразуры. На воротах темно-небесного цвета покоился силуэт матерого хищника, и выцветал клыкастый призыв: «Свободу волкам!». Кругом царил хаос – глыбы развороченного бетона, обломки ржавого кирпича, искореженные линии водопроводных труб.

Фуражкин наблюдал обыденный хаос войны, к которому по привычке за последнее время. Но сейчас что-то мешало ему принять эту картину как жестокую, но привычную данность. И вдруг его поразила ясная, беспощадная мысль – в селении не было никаких признаков жизни: не выглядывали из-за руин испуганные жители, не копошилась во дворах домашняя живность, не брехали за глухими заборами собаки. Казалось, даже птицы не летали над этим опустошенным селением, где раз и навсегда водворилась смерть.

Недавно прошел дождь, и копать было трудно – земля на дне воронки стала вязкой, густой. Солдатики срезали почву небольшими слоями. Быстро темнело. Пришлось подогнать грузовик и зажечь фары, направив желтые рассеянные лучи на раскопки. Наконец штык лопаты наткнулся на что-то твердое: «Есть!».

Начали откапывать живее. Постепенно из земли проступил неясный образ – скорченное туловище, без головы, лежало на дне воронки. Плоть уже подверглась гниению, и в воздухе появился тлетворный запах. Солдатики нацепили на нос марлевые повязки, натянули белые медицинские перчатки, принялись осторожно раздвигать полуистлевшие зеленые лохмотья.

«Пытаются найти воинский номерок, чтобы установить имя, – объяснял для себя Фуражкин странные изыскания в потемках. – Но номерок не всегда бывает в наличии. Это плохая примета – носить на шее номерок. Это означает почти неминуемую гибель. Многие идут в бой без номерков, не видя в них спасения».

«Вот и опознавай без номерка», – сказал офицер, возглавлявший группу поиска. Он потираливал солдат, хотя прекрасно понимал, что торопиться уже некуда, что теперь находится на

месте, что и покрикивать, и распоряжаться другими уже бессмысленно. Но в силу своей земной ответственности за происходящее продолжал, как бы исподволь, соучаствовать в поисках: «Ну как опознавать без номерка?».

«Господь всех опознает и всех назовет по имени, – тихо ответил Фуражкин, подивившись своей спокойной уверенности. – К тому же мать говорила, что у Евгения должен быть православный крестик».

«Был у него крест, – подтвердил чеченец, выступив из темноты. – Ему приказывали снять, а он не хотел подчиняться. Не хотел принимать нашей веры. Упрямый был, не слушался. Потому и убили».

«А зачем голову-то отрезали?»

«Не понимаешь? – усмехнулся тот в густую бороду. – Теперь он только думать сможет, чтобы мстить. А сделать ничего не сможет, чтобы мстить. Как рукам без головы мстить? Не получится».

И на эти слова «мстить, мстить, мстить», вдруг послышался Фуражкину иной, неземной ответ, летящий с горней, безымянной стороны: «Я пришел не мстить. Я пришел спасать. Я пришел любить вас».

Обезглавленное туловище вынесли на руках из темной воронки и бережно положили на расстеленный целлофан, вспыхивающий потусторонними блесками. Стали выправлять перед поднятием на грузовик. Распавшаяся плоть уже не держала остов. Внезапно, сверкнув в желтых рассеянных лучах, что-то выскользнуло из зажатого кулака:

«Крестик?»

«Точно, крестик!»

«Слава Богу, нашелся!»

Поздней-поздней ночью, на окраине Бамута, в сиянии золотого света, прах рядового Евгения завернули в блестящее полотно, как в плащаницу, и возложили в высоту. Была ночь. И было утро.

Возвращались в Ханкалу. Проехали мимо обветшалой вывески «Фрутовощной совхоз Бамутский», мимо обгоревшего танка, подорванного фугасом, мимо солдатской могилы, сооруженной на скорую руку – в земляной бугорок воткнут деревянный крест, увенчанный обожженным шлемом.

«Война приближает человека к Богу, отворяет ему духовные очи, – размышлял Фуражкин. – Только в Боге люди видят спасение на войне. Поэтому и идут в бой без номерков. Истинный воинский номерок – это крест на груди».

И раздавались в небесах торжественные созвучия, окрашивая высь багрянцем, будто ангелы пели.

Молитва в память Евгения, святого воина и мученика

Явился еси преудивлению крепостию, Христову терпению даже до смерти подражая, агарянского мучительства не убоялся еси, и Креста Господня не отрелся еси, смерть от мучителей яко чашу Христову прияв; сего ради вопием ти: святой мучинече Евгение; присно моли за ны, страдальче.

Диван Бродского

Высокие деревья стоят в саду, высокие деревья молятся ангелу, по диагонали летящему в небесах – к Петропавловскому собору. Серебристый вертолет вьется, стрекочет над ним, словно заботливая чайка над неопытным птенцом. И трепещут прозрачные ветки, разговаривая с осененным небом. А внизу дорожки еще прошлогодними воспоминаниями шелестят.

«Вот и духовная кладовая человечества! – по дорожке юноша Бесплотных подходит к старинному Шереметевскому особняку. – Здесь находится сокровище – знаменитый диван Бродского».

«Да чем знаменит диван? – веселится, следуя за юношей, Ксенечка. – Не тем ли, что по нему разгуливал кот Миссисипи?»

«Он знаменит тем, что на нем сживал самый любимый поэт той стороны земли, – открывает юноша дверь. – Этот диван летел через море-окиян, потому что в потусторонних глазах представляет большую ценность. Вот Америка и решила подарить его родному городу поэта».

Далее юноша Бесплотных философствует в том смысле, что в подарках отражается душа народа, его представления о дорогом и желанном. К примеру, каждая страна подарила Петербургу на юбилей только то, что соответствует ее духу. Германия – сторона ученая, рационалистическая, основательная. Оттого не стала подсовывать никчемную ерунду, а снабдила петербуржцев солидной электрикой, необходимой для дела – двумя мощными трансформаторами. Британия, напротив, держава романтическая, пиратская, мужественная. Британцы грезят жаркими звездами, тугими парусами и магнитными стрелками открытий. Они, конечно, преподнесли учебную яхту для морских прогулок – с непременным заходом на Альбион. Святая Армения – каменистый библейский край, куда прибился Ноев ковчег жизни, где открылись первые христиане. Армяне установили на Невском проспекте путеводный маяк – священный крест-камень хачкара. Что уж говорить о девяти китайских драконах, о каменном японском фонаре, об излучистой венецианской гондоле и киргизской юрте с тюндюком, означающим солнце, – все они теперь тоже находятся на невских берегах.

«А Америка?» – напоминает Ксенечка.

«Америка – это страна великого вавилонского столпотворения. Разноязыкие персоны со всего мира устремляются туда в поисках свободы. Поэтому подарить она может только копию своего божества – уменьшенную статую Свободы. Или какой-нибудь предмет, принадлежащий ее искателю. Иосиф Бродский нашел свое счастье именно там, и диван, на котором он расположился в Нью-Йорке, с той поры сделался неким символом вольнолюбия. Подарив диван Бродского, американцы тем самым передали петербуржцам как бы частицу свободы. Это немножко напоминает перенесение святых мошей в земли, которые требуется освятить».

Духовная кладовая человечества находится в пространстве, именуемом видеосалоном. Обычно в центре пространства, на голубом экране, заводной юлою вертится китайчонок Ли, показывая чудеса боевых искусств Востока. К этому центру день-деньской бывают примагничены зрители и зрительницы – восхищенные, пушистые, юные. Но сегодня в пространстве выходной, и его центр размагничен до суровой пустоты. На периферии остаются только музейные сокровища – стеклянный шкаф с фаянсовой посудой, большой письменный стол с ящичками, бюро.

В действительности это было не бюро – это был священный храм, великолепный Парфенон, восьмое чудо света. Храм величаво покоился на дубовых колоннах грубой дорической резки. Он стоял, как чудесный монумент, несокрушимый ни быстротечным громом, ни полетом времени. В его таинственной глубине хранилась поэтическая утварь – железный светильник, подобный изящному египетскому цветку, пожелтевшие газетные листы, длинные конверты авиапочты, очечник.

«Здесь все осталось так, как это было при жизни поэта, когда он работал за бюро, – сообщает очаровательная служительница, своим нежным ликом напоминающая римскую весталку. – Мы ни к чему не прикасались. Вот как прилетело это чудо из Америки, так и стоит здесь нетронутым».

«А где же диван? – озирается юноша. – Говорят, вместе с этим чудом еще и диван прилетел?»

«Понимаете, – целомудренно смущается весталка, – диван тоже прилетел, но здесь его поместить нельзя – обязательно кто-нибудь усядется. За каждым не уследишь. Поэтому его установили наверху, кажется, в директорском кабинете».

В таинственной глубине храма вспыхивают пронзительные линзы предвидения, кружатся крылатые конверты любви, шуршат пожелтевшие свитки обыденности. Из-за храма, из-за дубовых колонн грубой дорической резки осторожно выглядывает огненно-рыжий персидский кот.

«Ой, смотри, кот! – изумляется Ксенечка. – Котик-лохматик, котик-косматик, откуда ты?»

«Откуда-откуда, – бубнит Евгений. – Конечно, из Америки. И зовут его, конечно, Миссисипи».

«Ну что вы, это Васька, наш приبلудный кот, который только и гадит повсюду. – Очаровательная весталка хлопает в ладошки. – Брысь, шкодник, на улицу!»

«Мы тоже пойдем, – прощается юноша. – Спасибо, что разрешили мысленно побывать на той стороне земли, причаститься к великим святыням свободы».

«Мяу».

Время жить в Петербурге

В обшарпанной парадной висят мертвые почтовые ящики, что разоренные улы. Чернеют в ящиках узкие прорезы. Давно не журжат здесь узорчатыми крылышками газеты, давно не благоухают письма счастливыми вестями. Зато время от времени залетают в узкие прорезы всякие счета за коммунальную площадь жизни, за сумрачный свет бытия.

«Мерзавцы! – очкообразный нонконформист Эш вынимает из почтового ящика очередную бумажку. – Вот мерзавцы!» На бумажке крупными буквами было начертано: «Время жить в Петербурге». И нарисована была некая схема, которая сопровождалась следующим комментарием:

Комментарий к схеме объезда Санкт-Петербурга

В связи с проведением праздничных юбилейных мероприятий движение автотранспорта по городу ограничено. Объезд Петербурга организован по автодороге А-120 «Магистральная», которая на своем протяжении пересекает автодороги: М-10 «Россия», М-11 «Нарва», М-18 «Кола», М-20 «Псков», а также автодороги А-121 «Санкт-Петербург – 1 мая», А-128 «Санкт-Петербург – Морье», А-129 «Санкт-Петербург – Сортавала» и другие территориальные автодороги Ленинградской области.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения

«Вы посмотрите, что эти мерзавцы мне предлагают! – обращается нонконформист Эш к черной штормовке, вошедшей в парадную следом. – Они предлагают мне, коренному петербуржцу, покинуть родину в исторический момент – момент незабываемых торжеств. Когда на родине бедствие – они никуда не разрешают выехать. Когда на родине праздник – они пытаются непременно выпихнуть отсюда. К тому же эти мерзавцы не называют ни одного приличного направления – направляют куда-то на Псков, на Сортавалу, на Колу. Хорошо, что не на Колыму. А главное, что за направление здесь указано – Первое мая? Где это находится? Я знаю только одно Первое мая – безумный час сатанинского разгула и полета на старых метлах. В общем, намек понятен: они посылают меня к черту! К черту на кулички!»

«Какой же марки, извините, ваша колымага, чтобы добраться до куличек? – Черная штормовка неспешно ставит на пол мусорное ведро. – “Тойота”, “Мерседес”, “Крайслер”?»

«Не морочьте мне голову! – нонконформист Эш подпрыгивает от возмущения. – Никакой колымаги у меня нет! И никогда в жизни не было! Я – почетный газовщик Ленинграда, у меня есть грамота имени Ивана Ивановича Газа!»

«Тогда зачем беспокоиться? – Черная штормовка пожимает плечами, подцепляет ведерную дужку и поднимается по вековым ступеням, затоптанным подошвами мира. – Сидите дома, пейте чай, слушайте кукушку».

«Откуда он знает про кукушку?» – холодеет нонконформист Эш. Долгое время он действительно коллекционировал предметы la russe – цветастые гармошки, суровые лапти из лыка, грустные стихи Рубцова. Даже приобрел по случаю часы с кукушкой, которая выскакивала из резных ставней каждые полчаса. И только недавно почувал, что la russe – это дурной вкус, этнография нищих и убогих, не имеющая никакой рыночной будущности. Он оптом продал гармошки, лапти и стихи, и только кукушка продолжала выскакивать из резных ставней и куковать, обещая нонконформисту бессмертие. Наконец на днях он в сердцах расколошматил докучную птицу вместе с дурацким бессмертием. И теперь подумал с содроганием: «Откуда он знает про кукушку? Не иначе – вор и убийца!».

«Извините, уважаемый, вы в какую квартиру направляетесь? – Очки нонконформиста отсвечивают гляncем подозрительности, если не страшной догадки. – Часом, не в двенадцатую?»

«В квартиру номер двенадцать плюс один, – гремит где-то наверху мусорное ведро. – К вашей соседке – Софье Казимировне».

Телефонная интермедия

«И не забудьте паспорт. Без паспорта не пустят».

«Да кто, в конце концов, со мной говорит?»

«Я – непокоренный советский человек!»

«Ну и чего хочет непокоренный советский человек?»

«Я вас спрашиваю – вы пойдете в тюрьму или нет?»

«Да зачем мне в тюрьму-то идти?»

«За правду бороться!»

Мусорное ведро

Все смешивается в доме Фуражкина, когда какой-нибудь остолоп ни свет ни заря звонит по телефону с идиотским вопросом или подпившие гуляки спозаранку в дверь барабанят: «Открывай, Фуражкин, это мы пришли».

«Кто это – мы?» – пищит чужим фальцетом хозяин, пытаясь ввести гуляк в заблуждение.

«Как кто? – не поддаются на уловку незваные гости. – Мы – это Мылиция».

Приходится открывать дверь и впускать, предупреждая на пороге: «Тише, жену не разбудите».

Вламывается милицейский наряд – два добрых молодца мускулистых, две добрых дубинки ребристых, с перегаром на коротком поводке. Обнюхивают туалет, заглядывают на кухню, обнаруживают мусорное ведро и говорят: «Собирайся, едем в участок».

«Да зачем мне в участок ехать?» – недоумевает Фуражкин.

«Там узнаешь, – объясняют добрые молодцы. – Ведро мусорное с собой прихвати».

«Да зачем мне ведро-то прихватывать?»

«Там узнаешь».

Сидит Фуражкин в участке – окна синей тьмою зарешечены, стены желтой охрою окрашены, плакаты красной краскою испачканы. На плакатах от руки надписаны разные частушки. Например:

Стоять четыре ночи кряду
Пришлось благодаря наряду,
Бутылке крепкого винца,
А также мужеству бойца!

Под плакатами пустые столы нагромождены, на столах тусклые лампы засвечены. Сидит Фуражкин в участке – потертая фуражка в руках зажата, мусорное ведро между ног – бумагу читает.

Заявление Обмолотова Василия Ивановича

Прошу разобраться в совершении варварского нападения на незащищенную достопримечательность – Софью Казимировну Дырку, проживающую в моей квартире и имеющую всемирное значение. Вчера в шестом часу я покинул квартиру и вместе с женою отправился на презентацию дубовых гробов, размещенных под картиною «Вечный покой», куда был приглашен от имени художника Левитана. В это время неизвестное лицо, обладая мусорным ведром, обманом проникло в мою квартиру и проследовало на кухню к месту проживания Софьи Казимировны Дырки, ничего не подозревавшей. На кухне это лицо произвело противоправные действия, залив достопримечательность цементным раствором, извлеченным из упомянутого ведра. В ходе преступления туда заглянул мой дальний родственник, который является приезжим студентом Бесплотных с периферии, и спросил: «Что вы делаете?». Неизвестное лицо сказала, что по поручению губернатора осуществляет подготовку города к юбилею. По возвращении с презентации гробов я встретил соседа – почетного газовщика Эша, который сообщил мне, что, находясь в парадной, видел человека в черной штормовке и с ведром, который интересовался маркой его машины, которая отсутствует. В дополнение хочу сказать, что Софья Казимировна Дырка по представлению научной и культурной общественности включена в программу празднования 300-летия Петербурга, а мой знакомый Фуражкин, которого я знаю по совместной учебе, не раз высказывался, что ее надо заткнуть и не портить праздник.

Объяснение Фуражкина Алексея Ивановича

По поводу заявления гражданина Обмолотова могу пояснить следующее. Вчера в шестом часу я находился в Международном юбилейном фонде «Незабываемое торжество», где представлял свой проект летучего ангела президенту фонда – профессору Пустошке. При входе в помещение фонда я действительно встретил известного нонконформиста Эша, но никакого ведра при мне не было. Нонконформист Эш рассказал мне о фильме, который он снимает к торжествам, и мы расстались. Квартиру Обмолотова я по поручению губернатора вчера не посещал, Софью Казимировну Дырку не трогал и цементным раствором не заливал, а только в насмешку говорил, что ее надо заткнуть. Что касается моих личных отношений с гражданином Обмолотовым, то они у меня всегда были приличными, и никакой неприязни к нему я не испытываю. Для подтверждения моих слов прошу опросить гражданина Эша, машину которого я не угонял.

Возвращается домой Фуражкин из участка – мрачный, злой. А навстречу жена Марина, зевая, является из райского утреннего сна: «Дорогой, сегодня мне снилось синее-синее небо, синее-синее море, синие-синие купальники – мы с тобой на Ямайке. Кстати, а ты где был?».

«Ведро выносил».

Несоответствия

Загадочный город над вольной
Невой Готовится к дням своего юбилея,
И небо блистает над ним синевой,
И чайки крича-а-а-т...

Дядя Степа останавливает вращающийся круг звонкого голоса, отрезает ножницами кусочек случайного вскрика и склеивает концы звучащего четверостишия, придавая ему необходимую чистоту: «И чайки кричат под звездой Водолея».

Дом радио на Манежной площади – это лабиринт Минотавра. Как войти, так и выйти отсюда без путеводной нити невозможно. Прямо сидит задумчивым хомячком директор, направо шуршат магнитными записями архивные девушки, налево корреспонденты выются проворными змейками. Через полчаса все меняется – прямо корреспонденты сидят задумчивыми хомячками, направо магнитные записи выются проворными змейками, налево директор шуршит архивными девушками.

Но есть в Доме радио одна священная территория – студия дяди Степы. Посреди территории возносится алтарь – монтажный магнитофон эпохи блокадных стихотворений, перед которым молилась еще непокоренная Ольга Берггольц: «Никто не забыт, и ничто не забыто». Вот здесь и вращается тонкий круг победных речей, производственных интервью и душевных откровений.

Восходит к алтарю дяди Степы вездесущий летописец Тройкин, подносит подаяние – последнюю запись с последнего мероприятия, проходившего среди лесов и полей, на быстро развивающейся окраине Петербурга – в крематории печального образа.

Речь Яблочкова на открытии четвертой печи, записанная Тройкиным

Товарищи хм! В старой части города проживает миллион петербуржцев, прозябающих в ветхих и аварийных коммуналках. Эти люди сами не могут решить проблемы своего хм выселения из исторических памятников. Губернатор хм города ничего не делает для того, чтобы наши дорогие хм ветераны и блокадники получили к юбилею по заслугам. Между тем оптимальное решение существует. Расчеты показывают, что половина городского бюджета тратится впустую. Если эти деньги получит каждая хм ветхая и аварийная семья, то, уверяю вас, она сумеет освободить исторические памятники и снять отдельную хм жилплощадь в лесопарковой зоне. Это будет настоящей хм заботой о здоровье ветеранов и блокадников.

«Нет! – отвергает подаяние дядя Степа. – Это не соответствует праздничному настроению юбилейного народа. Народ – не быдло. Народу хочется настоящих торжеств, с песнями о сверкающем пропеллере, с огнеметами ростральных колонн, с прыжками громового валуна. Послушай, какие дивные стихи сочиняют наши юные дарования в преддверии юбилея».

И снова запускает дядя Степа жизнерадостный круг чистого, звонкого голоса:

Кораблик, игла,
Церквей купола.
Царь Петр, скакун,
Громовой валун,
Сады, острова,
Оград кружева.

Праздник, салют,
«Ура!» – там и тут.

И так чист, так звонок этот голос, что немного стыдится Тройкин своего дотошного летописного дела, которое и понадобится-то неизвестно когда, неизвестно кому. А может случиться так, что в будущем потребуется не подлинное, а только светлое прошлое, и тогда все летописные старания пойдут насмарку.

Фашистская выходка

Статья Ульриха Шмидта в газете «Voll Freiheit» (Германия)

Санкт-Петербург – «город культуры» – празднует триста лет с того дня, как русский царь Петр захватил эти шведские земли в устье Невы и основал новую столицу Российской империи.

Здания на Невском проспекте – главной магистрали города – кое-где кажутся покрашенными. Тротуары частично покрывает дорогостоящая плитка. Некоторые рестораны имеют юбилейные значки, на которых изображен план крепости Петра и Павла. Между тем готический шпиль, возвышающийся над крепостью, вновь обладает фигурой ангела. За последнее время этот символ города реставрировался дважды, что указывает не в пользу его реставраторов.

«Они могут только покрасить фасады», – говорит 45-летний художник Сергей Иконников. Он считает, что служащие городской администрации коррумпированы. Не принимаются актуальные меры по улучшению существования простых людей. Их доход в лучшем случае составляет 50 евро в месяц. Дома, в которых они живут, находятся в ужасном состоянии. Поэтому многие испытывают ностальгические настроения по временам Советского Союза, когда были дешевыми продукты и водка – любимый напиток русских.

Сергей приглашает меня в кафе, которое находится на Невском проспекте. В заведении, в выдержанном в красно-черных тонах, все происходит сдержанно и стильно. Гости сидят за стеклянными столами, пьют водку из бокалов с надписью «Генсек». На закуску предлагается «КГВ-завтрак» (колбаски, 2 яйца, горох), «Сталинградский котелок» (говядина, морковь, картофель), а также мясное блюдо, носящее имя тоталитарного китайского вождя Мао Цзэдуна, который пользуется здесь все большей популярностью.

«Они хотят только покрасить фасады, – утверждает Сергей, занимающийся большой просветительской работой. – Но они совсем не хотят изменить сознание людей». По его достоверному мнению, в стране возрождается тоталитаризм, который напоминает правление Адольфа Гитлера. В доказательство своих высказываний он приводит жуткий эпизод, случившийся на днях с известной диссиденткой Софией Дыркой – этим ярким символом борьбы за свободу в России. Неизвестный иштурмовик заживо замуровал ее в собственной квартире. Сергей уверен, что это сделано по приказу властей. «Они восстанавливают старые тоталитарные символы – советский гимн, красное знамя, – говорит он. – В то же время они разрушают новые памятники, свидетельствующие о давнем стремлении народа к свободному образу жизни».

Мертвопись

«Это было давно, когда я еще лапти собирал», – очкообразный нонконформист Эш гоголем прохаживается по своей мастерской, расположенной в подвале потустороннего мрака и ужаса. По углам мастерской валяются мотки колючей проволоки, обломки железных труб, груды пустых консервных банок. На стенах мерцают мертво-зеленые раки, ящерицы и прочие

гады, пригвожденные к дощечкам. В тяжелом воздухе роится запах искореженного металла и жженных костей. Догадливая журналистка Апостольская, восседая на табуретке посреди потустороннего мрака и ужаса, зажимает нос платочком, надушенным французским ядом – «Пуазоном».

«Это было давно, когда я еще лапти собирал. Пошел однажды я в церковь – поглазеть на утварь la russe. Подхожу к иконе Пантелеймона и вижу: внизу, у самых ног целителя, чернеет его подлинная косточка, оправленная стеклом и золотом. Целуют люди эту косточку и радуются, как будто к великой святости прикоснулись. Вот тогда и осенила меня идея мертвописи. Правда, мой знакомый Ермаков называет это профанацией святых мощей, да я на него, прохвоста, не обижаюсь. У него весь мир – профанация».

Нонконформист Эш зажигает автоген, демонстрируя догадливой журналистке Апостольской процесс изготовления необычного шедевра – синим лучом вырезает невообразимую конструкцию, формирует некую железную оправу и вставляет туда слегка опаленную куриную косточку, приговаривая: «И ныне, и присно, и на веки веков».

«Готово! – преподносит нонконформист громоздкий шедевр, произведенный на глазах восхищенной гостьи. – Это память о нашем романтическом обеде».

«Я слышала, что в Америке техника увековечивания костей ушла далеко вперед, – хвастается своими познаниями догадливая журналистка Апостольская. – Там вставляют в подобную оправу не только куриные останки, но и прах родственников».

«Темный у нас народ, дремучий! – вздыхает нонконформист. – Еще недостаточно образован, страдает пережитками тоталитарной дикости. Я хотел было предложить юбилейный проект творческой обработки трупов, так ведь народ не поймет – наотрез откажется от выгодного приобретения. Согласитесь, что наш крематорий работает впустую – ведь пепел можно использовать не только на примитивные удобрения, но и добавлять в различные краски, необходимые для создания великих полотен. Мало того, если очищенный прах нагреть на газе и сжать под высоким давлением, то можно получить отменные алмазы. В свободных странах так и поступают – делают из ненаглядных мертвецов бриллиантовые подвески и носят себе на здоровье!»

«Мне кажется, что подобные бриллиантовые подвески должны пахнуть Освенцимом», – догадливая журналистка Апостольская по-кошачьи обнюхивает оправленную косточку с разных сторон.

«Какой запах? Какой Освенцим? – возмущается нонконформист. – Чистая, изысканная мертвопись! Мертвопись – это алмазный идеал свободы!»

Полномочный спецчеловек

«Теперь ты несешь в долину огонь своего автогена. Когда понесешь на гору дым своего творчества?» – возникает в мастерской Эша полномочный спецчеловек, откомандированный на берега Невы с центрального меридиана. Его мужественный лик блистает целеустремленностью холодных глаз медузы и свежесвыбритой синеваой магазинного цыпленка. На всякий случай он имеет черную визитку с радужными орлиными крыльями и надписью золотом: «Специальная служба». А сегодня случай как раз представляется всяким.

«Вот ты только что вспоминал своего знакомого фигуранта, – достает он из черной кожаной папочки чистый лист и приступает к составлению протокола ненависти. – Кто это?»

«О, это страшный человек! – нашептывает нонконформист Эш. – Понимаете, этот Ермаков был коренным отщепенцем и однажды начертил кровью на кирпичном брандмауэре: “Для духа нет преград”, а потом установил на лодчонке иконку Богородицы и поплыл в гордом одиночестве напрямик на восток от солнца, на запад от луны. Никого с собой не взял, только Богородицу да своего любимого кота. Разумеется, по дороге его выловили и посадили в тюрьму за незаконное пересечение пространства».

«Это правильно. У нас пересекать пространство, да еще с котами, без разрешения нельзя. Ну а другой фигурант, с которым ты общался вчера?»

«О, это страшный человек! – нашептывает неконформист Эш. – Понимаете, Фуражкин был боевым офицером и однажды без разрешения командования издал книжечку про секретный Александровский форт, где некогда учинялись ужасные злодеяния, был отправлен сражаться на Северный Кавказ, а потом, по возвращении, начертал в Офицерском собрании возмутительные имперские стихи: “Един есть Господь, потому и держава едина!”. Какая к черту держава? Какой Господь? Прах один».

«Опасные люди твои знакомые фигуранты. Кто пишет кровью и стихами, тот не хочет, чтобы его читали, а хочет, чтобы его выучивали наизусть».

«Опасные, очень опасные люди, все напрямик делают, без разрешения, – поддакивает неконформист Эш. – Особенно тот, другой фигурант. Он ведь умеет стрелять из пушки! Когда я ему рассказал о необходимости перевести крематорий на рыночные рельсы, он предложил сделать из меня двенадцатый час – сначала сжечь в печи, потом зарядить пеплом Петропавловскую пушку и выстрелить в облака. Ну не выродок ли?»

«Где начинается рынок, там начинается жужжание мух, – режет ладонью воздух полномочный спецчеловек. – Ну а где начинается жужжание мух, там начинается процесс распада. Скажи, по поручению губернатора этот фигурант мог залить цементом Софью Казимировну Дырку?»

«По поручению он мог сделать что угодно! Хоть залить, хоть запить, хоть черту кочергой залепить. Одно слово – негодяй!»

«Подпишись в протоколе. Подпишись своей настоящей фамилией, а не шипящим псевдонимом».

«Как же, как же, я помню, что моя фамилия Живолуп, только никому не говорю, храню гордое молчанье, как декабрист. Так под чем подписаться?»

«Как под чем? Битый час толкуем, что твой знакомый фигурант совершил злодейский проступок – по поручению губернатора заживо замуровал Софью Казимировну Дырку, а ты как будто ничего не понимаешь».

«Так это он? Ну конечно, он! Надо же, как я сразу не догадался, что это он. Вот паскудник!»

В мастерской пахнет искореженным металлом, жженой костью и прожженной подлостью.

Телефонная интермедия

«Сегодня, топ ргисе, этот вития опять разглагольствовал по телевидению, что я похитила научные кости мамонта».

«А мамонт-то вам зачем?»

«Вы лучше спросите, зачем он палеонтологам? Протирать тряпочкой, омоченной слезами нищеты? А я хочу собрать в Нью-Йорке киргизскую юрту, поставить рядом ископаемое и протрубить, как мамонт. Знаете, сколько можно будет заработать денег? Я уже договорилась, топ ргисе, и действую, как американский гангстер. Его надо заткнуть».

«Кого – мамонта?»

«Мамонт, слава Богу, молчит уже десять тысяч лет. Надо, чтобы замолчал вития».

«Хорошо, я посоветуюсь с палеонтологами».

«Не с палеонтологами, а с патологоанатомами!»

Черная точка

В ту грозовую ночь, когда черная точка лишилась жизни, дежурил Самохин по городу. Еще недавно он был хранителем печати, особо приближенным к губернатору. Но сверху повеяли новые полночные веяния, и зазвучал воинственный голос Юдзана Дайдодзи: «Когда самурай становится отшельником, он берет в руки мухобойку, чтобы повелевать простой толпой». И тогда пришлось, сложив вчетверо первую подвернувшуюся под руку газету, превратить печать в обыкновенную мухобойку.

И тогда пришлось кабинет Самохина обустроить в духе сурового самурайства. Куда-то исчезли милые, прелестные вещи (невские картинки Бенжамена Патерсена, голландские курительные трубки, мушкетерские кувшины с изображениями ангелов из Вестервальда), которые волшебным образом ужасное бытие превращают в прекрасный быт. Бытие ведь всегда бездушно, пустынно, ужасно. Быт же всегда одушевлен, всегда исполнен тысячами мелочей, а потому всегда прекрасен. Но для самураев, становящихся отшельниками, быт уже не имеет никакого значения, превращаясь в мужественное бытие, лишенное очаровательной никчемности.

С грустью-печалью вспоминал Самохин о своей бывшей должности, разворачивая иногда типографские листы или поглядывая на голубой экран. Вот и в ту грозовую ночь, охраняя мухобойку, он смотрел телевизор по привычке, не испытывая особого служебного рвения. Показывали разные веселые программы: в одной лунная сенаторша Киргиз-Кайсацкая потрясала мамонтовыми костями, в другой ее дочь – гламурная Гульнара – трясла своими.

«О, телевидение! – думал Самохин отвлеченно. – О, искрометные брызги информации, лебединая зыбь классического этюда, взбаламученный ил криминальной хроники! Как и море, телевидение есть имя среднее. Поэтому женщины здесь становятся яростными воительницами, а мужчины гримируются и пудрятся, приобретая внешний артистический лоск и округленный изгиб театральной позы. Телевидение уравнивает полы, расы, наречия. На телевидении невозможен герой, возможно лишь его отражение, его сочинение, выдумка его необыкновенная. И каждый, кто окунается в это безбрежное море, уже не в силах вернуться на грешную землю, запросто пройти по грибным дорожкам, по мосткам дождевым, а продолжает до конца мучиться под зыбким стеклом мушиного жужжания. Такова плата за желание перейти невидимую черту и возвыситься над другими, перестать быть и начинать казаться, выглядеть, мерещиться».

Тут на голубой экран, на благородное изображение сенаторши черной точкой садится реальная муха-цокотуха, нарушая течение отвлеченной мысли. Она тщательно перебирает лапками редкие пшеничные волосы, скатывается по крутому морщинистому лбу, перескакивает через высокую ограду крашенных ресниц, пробирается вдоль предгорья напудренного носа и, юркнув, ловко упрячется в узкую ноздрю, как в пещерку

«Одна маленькая цокотуха уничтожила всю магию телевидения, – констатирует Самохин. – Просто устроилась на милой сенаторской физиономии, и все волшебные усилия телевидения пошли насмарку. Быть может, там, по ту сторону синей фата-морганы, не спали всю предыдущую ночь, сочиняя возвышенный образ героини. А теперь героиня сидит с черной точкой на носу и знать об этом не знает. Наличие точки – это случайность или закономерность? Скорее закономерность, чем случайность, потому что муха прилетела на запах мертвечины. Она почуяла этот запах распада через тысячелетия вечной мерзлоты, через бурные волнения частоты и прилетела. Ее прилет доказал, что жизнь бесстрашно несется на смерть, преодолевая незримые преграды».

Завершив течение отвлеченной мысли, Самохин вспоминает о своих непосредственных обязанностях, вооружается мухобойкой и, привстав, с размаху хлопает по голубому экрану.

Благородное изображение, чихнув, благодарит за внимание. А черная точка, лишенная жизни, тихо падает с голубой высоты.

Грозовой была та ночь, роковой.

ОМУ

«Все правильно: человек должен стать лучше и злее. И потому вы, бесстрашный, белый, гордый, находитесь здесь, чтобы убивать этих лакомок?»

Самохин настороженно разглядывает ночного гостя, блистающего целеустремленностью и синевой: «Я просто-напросто дежурю по городу, а вот вы, господин полномочный, с какого переляку здесь будете?»

Спецчеловек по-хозяйски располагается в кабинете: «Насколько помнится, в недалеком прошлом вы являлись хранителем печати? Стало быть, кое-что читали и были осведомлены. Неужели вам не попадались новости нашего сайта?»

Новости сайта «Рубиновые звезды, ру»

Федеральное давление на Петербург продолжается. Москве мало публично покаяться питерского губернатора. Необходимо во что бы то ни стало обеспечить его уход в самое ближайшее время. Пока же о полном разгроме Петербурга говорить рано. Отдельных лиц смогли перекупить, но губернаторский костяк держится. Поэтому Москва намерена кое-кого припугнуть или даже посадить из ближайшего окружения, хотя альтернативного лидера в Петербурге все равно нет. Ввиду высокого самомнения петербуржцев противостояние двух столиц далеко не закончено. Во что оно выльется, можно будет сказать после празднования 300-летия Петербурга, которое станет главным событием года.

«Новости попадались, – сглатывает слюну Самохин. – Свежие были. И прочее, так сказать».

«Ну, значит, вы все знаете. Тогда перейдем к делу, – улыбается спецчеловек и, вынув пинцет, метким движением подцепляет безжизненную точку. – Надеюсь, вы не будете отрицать, что только что на моих глазах совершили преступление – убили представителя животного мира. Убили жестоко, можно сказать, садистски».

Он говорит неторопливо, с густой мелодичной хрипотцой, делая мрачные акценты на криминальные термины – преступление, убийство, садизм. При этом держит пинцет с безжизненной точкой прямо перед глазами Самохина, как будто стремится окончательно убедить хранителя в совершении страшного, невообразимого злодеяния.

«Между прочим, это статья, – спецчеловек галантно подставляет под пинцет прозрачный целлофан и опускает туда улику. – Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, с применением садистских методов. Наказывается арестом на срок до шести месяцев».

«Муха – не животное, – пытается оправдаться Самохин. – Муха – вредное насекомое, так сказать».

«Для вашего сведения – насекомое есть беспозвоночное животное. Спецчеловек берет лупу в золоченой оправе. – Убедитесь сами, как безжалостно переломали вы усики, крылышки и ножки безобидного существа, так доверчиво прилетевшего на ваш вечерний огонек».

Под увеличительным стеклом безжизненная точка преобразается в огромное мистическое чудовище, достойное страшного сказочного сериала, которым потчует весь мир фантастический американский кинематограф.

«К сожалению, в этой истории есть отягчающие обстоятельства, – продолжает дознание спецчеловек. – Убийство произошло в Смольном при исполнении. Следовательно, это была незаконная охота на территории специального заказника, совершенная лицом с использова-

нием своего служебного положения. Наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Представьте, два чудесных года в приюте спокойствия, трудов и вдохновенья, – сам Пушкин позавидует! Но для особо приближенного все равно маловато будет».

Тут на голубом экране, на благородном изображении сенаторши, обозначается новая юркающая цель. «Ну, муха-цокотуха, погоди!» – Спецчеловек привстает, вооружается мухобойкой и с размаху хлопает по экрану. Очередная безжизненная точка тихо падает с голубой высоты.

«Итак, гражданин Самохин, вы содейали массовое уничтожение животного мира. Спецчеловек опять орудует пинцетом. – И теперь вам грозит двадцать лет спокойствия, трудов и вдохновенья. Мы ведь не америкосы. Это америкосы будут до умопомрачения искать в арабских пустынях оружие массового уничтожения, чтобы оправдать свою оккупацию. А мы даже искать не будем. Мы просто возьмем обыкновенную мухобойку и одним щелчком превратим ее в ОМУ. Ну что, Александр Станиславович, общаться будем?»

«Будем».

«Это ты передал Фуражкину поручение губернатора уничтожить всемирную достопримечательность – Софью Казимировну Дырку?»

«С какого переляку?»

«Еще раз повторяю – общаться будем?»

Абу Грейб

Рапорт генерала оккупационной армии США Антонио Тагубы

Я обнаружил, что намеренные злоупотребления в обращении с иракскими военнопленными, заключенными в багдадской тюрьме Абу Грейб, включали в себя следующие действия:

- *насильственное помещение заключенных в различные позы, имитирующие половой акт, для фотографирования;*
- *принуждение заключенных мужского пола к ношению женского нижнего белья;*
- *принуждение групп заключенных мужского пола к мастурбации, в то время как их фотографируют;*
- *заключенного насильственно насиловали химическим фонарем и ручкой швабры.*

К таким выводам я пришел, в частности, на основании следующих свидетельских показаний:

- *Сабрина Харман из 372-й роты под присягой сообщила, что ей «задачей было не давать заключенным спать», когда их помещали на ящик и прикрепляли к пенисам провода;*
- *Джавал Дейвис из 372-й роты под присягой рассказал, что представитель военной разведки инструктировал охранников: «Сделайте этого парня поподатливее. Пусть это будет худшая ночь в его жизни. Возьмите его в оборот»;*
- *Адел Нахла, гражданский переводчик, рассказал: «Они заставляли их проделывать странные упражнения – прыгать, кататься на животе, обзывали их “геями”, говорили, что они любят заниматься любовью с парнями; потом их сковали наручниками по рукам и ногам и сложили друг на друга так, что пенис того, кто лежал внизу, упирался в зад того, кто находился наверху»;*
- *Нил Уоллин из 109-го медицинского батальона свидетельствовал: «Во время своего обхода я заметил, что как только новые заключенные попадали в тюрьму, некоторых из них заставляли носить женскую одежду для того, чтобы их сломить».*

Баобабы

У перехода на Невском проспекте, где приторговывали бедные петербурженки, предлагая прохожим лопухого щенка шотландской овчарки или невзрачный полевой букетик, благоухающий синим ароматом утренних электропоездов, приобрел некогда Фуражкин оранжевый томик Антуана де Сент-Экзюпери.

И вот вечерами в садах Адониса, где золотилась диадемой китайская роза, стал бродить Маленький принц, прилетевший с астероида В-612, стал поливать возлюбленный цветок, обозначенный шипами, и выпалывать вредные травы, выраставшие в других горшочках. А потом исчезал в звездном небе, ужаленный желтой змейкой времени. И грустил Фуражкин: «Вернется ли Маленький принц?».

Однако с недавних пор разлюбил Фуражкин оранжевый томик Антуана де Сент-Экзюпери, разлюбил прилет Маленького принца, который проповедовал философию неба, разлюбил свои идиллические вечерние ожидания у распахнутого окна.

«Не такая уж она и безобидная, эта философия неба, – затворяет Фуражкин наглухо двустворчатое окно с видом на ветер. – Не такой уж он и безобидный, не такой уж и невинный, этот Маленький принц. Вот он встает поутру, умывается и начинает приводить в порядок свой астероид В-612 – поливать молодые ростки роз, которых назвал полезными растениями, и выпалывать молодые ростки баобабов, которых назвал растениями вредными. Он вообще поделил мир на вредное и полезное. Но ведь творение Божье не делится на полезное и вредное. Тем более, когда вредное только мерещится – как потенциальная угроза захватить астероид. Маленький принц видит опасность в том, что баобабы будут больше его, величественнее. А ему не нужны великаны, ему не нужны богатыри, ему не нужны герои. Ему нужна лишь крохотная роза, обладающая бесполезными шипами. Маленький принц нуждается лишь в диких игрушках разума – нарисованном барашке либо прирученном лисе. Все остальное, что никак не подчиняется ему и существует само по себе, он готов безжалостно выдолбить. А поскольку молодые ростки баобабов ничем не отличаются от молодых ростков роз, то рано или поздно Маленький принц нечаянно, впросонках, выдернет из сердца и свою розовую любовь – выдернет напрочь, вместе с бесполезными шипами. И останется один в пустыне песчаной, в пустоте глухой – этом самом красивом и печальном месте на свете, как признался однажды сам Антуан де Сент-Экзюпери».

«Какая духота!» – Жена Марина подходит к окну, пытается его распахнуть.

«Не отворяй, – просит Фуражкин. – Я не хочу, чтобы Маленький принц хозяйничал в нашем саду».

«Какой Маленький принц? – Жена Марина ощупывает лоб Фуражкина. – О чем ты говоришь?»

«Я не хочу, чтобы Маленький принц прилетал и прохаживался по нашим горшочкам»

«Ты заболел? Ты говоришь какой-то бред».

«Ничего я не заболел, и это не бред, – кручинится Фуражкин. – Сейчас Маленький принц бомбит Багдад».

Рамбовская троица

«Империи не умирают – они не из того материала, – говорит сторож. – Просто надо знать, где сегодня находится столица нашей империи, и тогда все станет понятно».

Рамбовская троица – церковный сторож да два портовых кочегара – возлежит на берегу Финского залива. Дует северный ветер – волны идут бестолковыми стадами, прибрежные камыши переливаются серебром на меху, чайки стерегут облака, сверкая острыми крыльями.

На берегу костер горит – сизые языки пламени лижут огромную консервную банку. В банке плавится свинец памяти. Рядом змеятся куски раскуроченного кабеля. Церковный сторож встает, подбрасывает хворост в замирающий огонь. «Культура, – побряхтывает он, – это умение выживать на местности».

Портовые кочегары меланхолично потягивают пиво из бутылок густо-зеленого стекла. «Номер девять – убойное пиво, – замечает один из них, прокопченный угольным духом котельной. – Они туда спирт подмешивают».

«Травят народ, – лениво откликается другой, облагороженный легким налетом городской гари. – Нашей смерти ждут. Не дождутся! У нас – древний навык выживания».

Струится в песчаные формы расплавленный металл, играя на солнце эфирными оттенками золота и лазури.

«Свинец, понятно, в губернаторские ноги пойдет, – отбрасывает сторож тяжелую банку, пышущую жаром. – Для большей устойчивости. Его при жизни носило туда-сюда, как пушинку. Пусть хоть после смерти постоит неколебимо, как Россия».

«Для неколебимости надобна бронза и медь, – философствует кочегар, облагороженный гарью. – Только эти металлы обладают благородными имперскими свойствами. Так что без них никак не обойтись».

«Вон на том Летучем Голландце полно этого добра. – Кочегар, прокопченный духом, машет рукой в сторону брошенного корабля. – Там, в трюме, пруд пруди этих имперских свойств».

Давно бросил якорь на тихом взморье Летучий Голландец, а корабельный гюйс давно выветрил запахи горькой соли и крепкого спирта. Однако еще таил, еще оберегал брошенный корабль свои несметные сокровища – медные трубы, вентили, задвижки и прочие россыпи цветного лома. Правда, местные могильщики уже похозяйничали на нем и кое-какую мелочь вынесли. Но крупные драгоценности, какие-нибудь кингстоны, еще оставались нетронутыми. Летучий Голландец покачивался на волнах одиноким призраком.

«На губернатора одного кингстона, должно быть, хватит – там двадцать килограмм чистой меди», – неспешно направляется к призраку рамбовская троица...

Однажды церковный сторож да два портовых кочегара возмечтали воздвигнуть на берегу пустынных волн символ народной жизнестойкости – монумент Александру Даниловичу Меншикову, который из веселого пирожника изловчился стать первым питерским губернатором. Их отнюдь не смутило юбилейное нашествие бронзовых варягов, когда Кваренги, Растрелли, Росси, Ринальди загромыхали стройными рядами по праздничным площадям, а милосердный казахский акын Джамбул, усыновивший всех несчастных питерцев, замкнул эту безмолвную колонну.

«У властей своя мечта, – заключила троица, – а у нас своя».

В приморском городке Рамбове, возведенном Меншиковым неподалеку от Санкт-Петербурга, идея увековечивания первого питерского губернатора в нетленной бронзе вызвала оживленные споры. Причем народ больше увлекала не материальная, а духовная сторона монументального вопроса – какую памятную надпись высечь на пьедестале?

Дискутируя с народом, церковный сторож напирал на преданное служение священному монаршему престолу, которым отличался Меншиков. Он всегда был рядом с Петром, свидетельствовал сторож. Грудью ли защитить царя в сражении кровавом, бревно ли подхватить в строительстве великом, на перси ли женские указать очам любострастным – всегда рядом оказывался Меншиков. Это он сориентировал Петра на свою любовницу, которая затем стала благоверной монаршей супругой – Екатериной Первой. Поэтому ему более всего подойдут бессмертные пушкинские строки – «царю наперсник, а не раб».

В то же время кочегар, слегка облагороженный городской гарью, намекал на некоторую меншиковскую стяжательность, вспоминал случаи светлейшего мздоимства и даже казнокрадства. В назидание другим он предлагал вырубить на памятнике ломоносовскую эпитафию, которая приобрела современное звучание в силу нового, разбойного толкования слова *стрелка*: «Под сею кочкою оплачь, прохожий, пчелку, что не ленилася по мед летать на стрелку».

Ему возражал кочегар, насквозь прокопченный духом. Среди петровских сподвижников, рассуждал он, Меншиков был единственным бедняком, можно сказать, настоящим босяком. И вовсе он не тырил, не плутовал, не мошенничал. Он просто проявлял свою природную находчивость и хитрость, как Алеша Попович, чтобы выжить среди господ – подлинных расхитителей государевой казны, которые, кстати, и возвели на него напраслину. Поэтому к нему применима другая мудрость, выстраданная таким же, как и Меншиков, народным выходцем – Гавриилом Романовичем Державиным: «Живи и жить давай другим»...

«Пожалуй, такому великому человеку кингстона маловато будет, – сомневается церковный сторож, приближаясь к Летучему Голландцу. – Как минимум, потребуется два, а то и три».

«Два с половиной кингстона – красная цена», – соглашаются с ним портовые кочегары, внимательно приглядываясь к призраку, который как-то странно покачивался на волнах. Неожиданно призрак качнулся сильнее обычного и стал медленно удаляться в синеватую мглу залива, откуда донесся натужный гудок трудового буксира.

«Увели! – оторопевшая троица застыла на берегу пустынных волн. – Из-под носа мечту увели, мошенники!»

Бедный рыцарь

Все реже встречается юноша Бесплотных с Ксенечкой, все реже бывают они в темной мансарде, все реже делят пополам золотое, с жемчужинками, яблоко – символ любви.

Евгений (берет гитару задумчиво). Я хочу спеть тебе романс. Этот романс я посвятил Елене Генриховне. Ты на нее так похожа. Очень. Такая же тонкая и прозрачная. За что люблю.

Ксения. Я не хочу быть похожей на Елену Генриховну. Я устала слышать: Елена Генриховна сказала, Елена Генриховна нарисовала, Елена Генриховна сделала. Я не хочу быть отражением Елены Генриховны. Я хочу быть такой, какая есть. Понимаешь? Я хочу жить своей собственной среднестатистической жизнью. И делать все сама.

Евгений. Ксенечка, а что ты умеешь делать? Может быть, ты умеешь сочинять стихи, как Елена Генриховна? Может быть, ты умеешь думать, как Елена Генриховна?

Ксения. Зато я умею любить, дурак.

Евгений. Ну да, ну да. Чтобы иметь детей, кому ума не доставало?

Ксения. Вот именно, ума и не хватает. Твоя Елена Генриховна – всего лишь красивая фантомша. У нее даже детей не было! Она при жизни была фантомшей и после смерти осталась фантомшей.

Евгений. У нее были дети. Духовные дети. И она – не фантомша. Она – северная звезда на морозе, одинокая роза в снегу.

Ксения. А ты вообразил себя Маленьким принцем, который вот-вот полетит к ней, чтобы поставить ширмочку и заслонить бедную розу от студеного ветра. Воображуля!

Евгений. Любовь Маленького принца – не просто любовь. Один мой знакомый говорит, что это – постмодернистская вариация высокого духовного делания.

Ксения. Вот именно, что это – вариация, блин, деланная любовь. Маленький принц никого не любил, кроме себя. Если бы он любил розу, он никогда бы ее не оставил. Оттого

и любовь его бесплодна, что она предназначена только для личного пользования. Между прочим, у этого несчастного Экзюпери тоже не было детей. Господи, открой очи и посмотри – землю заполонили какие-то бесплодные принцы!

Евгений. Ты на что намекаешь, Ксенечка? Радуйся, что у меня ангельский характер. И вообще... Ангелы, да будет тебе известно, существа бесплотные.

Ксения. Я намекаю на то, что у Христа было два отца – земной и небесный. Один из них действительно был бесплотным, но другой-то был плотником.

Евгений. Я не плотник, чтобы строгать детей.

Ксения. Ну и оставайся со своей Еленой Генриховной! А я уйду. Я не хочу приносить себя в жертву фантомам и фантомшам.

Евгений. Куда же ты пойдешь, Ксенечка?

Ксения (хлопая дверью). К Иосифу!

Старая известка осыпается над захлопнутой дверью и обнажает темную прореху откуда веет космическим холодом. Евгений растерянно поживается, перебирает струны, прислушиваясь к пустоте лестничного пролета, где стихает отдаленная дробь каблучков. Тихо поет:

«Чашки есть китайской синьки,
Есть живой былинный камень,
На сосне времен насечки,
Семь озер стоят вокруг.
Осень, ветер дует финский,
Я сижу, дремлю стихами,
Греюсь возле белой печки
У маркизы де Гуро.

А прозрачная маркиза
Все глядит в окно сквозное,
Где идет священный вечер:
Солнце, сага, серебро,
Где индус из парадиза
Светит розовой звездой
И летит ему навстречу
Бедный рыцарь и певец.

Так смешалось все на свете,
Что, исчезнув, появилось.
Отчего солено море?
Растворилось солнце в нем.
Отчего стихает ветер?
Время в нем остановилось.
Что же неутешно горе?
Навсегда ушла любовь,

Говорю: однажды в выси
Умер он, одетый в камень.
Золотые пряди плуга
Означают долгий путь.
Вехи складывают мысли,
Звезды движутся стихами,

Годы слушают друг друга,
Если Бог не позабыт».

Евгений (ставит гитару в угол, смотрит в никуда). Праздники соборные, чуждые неги. Если бы знали, где путь правды, то совокупляться бы забыли. Ну, и где третья истина?

Варвар

«Какой чудесный обман зрения! – идет Фуражкин по набережной мимо Троицкого моста, где восседают на каменных стелах царственные орлы. – На какую сторону ни перейди, а символ державы всегда будет иметь две главы и два крыла. На самом деле он имеет три крыла и три главы, как Змей Горыныч. Его создатель учитывал трехмерную реальность: чтобы казаться двуглавым, державный символ обязательно должен быть трехглавым. Вот так и в жизни: чтобы казаться одним, надо непременно быть другим».

Тонкий юноша, пребывающий в приемной фонда «Незабываемое торжество», приглашает Фуражкина к разговору: «Профессор Пустошка, к сожалению, занята. Она поручила мне выслушать вас. Я – ее временный секретарь Евгений Бесплотных».

«Мой проект летучего ангела основан на открытии, которое сделал ученый из Башкирии. – Фуражкин раскладывает на столе чертежи небесной геометрии. – Открытие состоит в том, что мысль материальна и воздействует на объект мгновенно, с любого расстояния. Как известно, ангел, летящий над Петропавловской крепостью, под влиянием ветров вращается на золотом яблоке, отчего кажется живым. Если направить на него лучезарную мысль, то может случиться, что он соскользнет со своего золотого яблока и полетит. Главное, чтобы концентрация мысли превосходила ангельский вес. При этом мысль должна быть совершенно лучезарной, совершенно чистой, без малейшей примеси бесовской лжи, клеветы, насмешки».

«Какова необходимая концентрация мысли?» – интересуется Бесплотных деловито.

«Согласно моим расчетам, необходимая концентрация будет достигнута, если одновременно миллион человек обратит свою лучезарную мысль на ангела. Только в этом случае он полетит».

«А что произойдет, если во время полета ангела кто-нибудь переменит свою мысль – подумает о чем-нибудь постороннем, о чем-нибудь непристойном или просто по-дурацки захочет?»

«Тогда ангел упадет и разобьется».

«И вы абсолютно уверены, что целый миллион человек сможет в течение трех минут, пока длится полет ангела и звучат торжественные звуки, поддерживать лучезарность своей мысли? Ведь наверняка среди этого миллиона найдется хотя бы один человек, который из вредности, из подлости какой-нибудь или просто ради забавы захочет, чтобы божественное действие прекратилось, чтобы ангел упал и разбился, чтобы вы на глазах толпы потерпели сокрушительное фиаско, а он, напротив, одержал бы свою дьявольскую победу. Три минуты – это ведь целая вечность при том обстоятельстве, что каждое мгновение в нашем грешном мире замышляется какое-нибудь злодейство».

«Об этом я как-то не подумал, – пожимает Фуражкин смущенными плечами. – Хотя бы один злоумышленник, конечно, всегда найдется. Я даже догадываюсь, как его зовут».

«Не позволю! – врывается славная профессорша Пустошка в приемную. – Не позволю вам уничтожить еще один памятник, еще один уникальный символ нашего города. О ваших гнусных поступках мне уже рассказал режиссер Эш. Вы – самый настоящий варвар!»

«Варвар!» – гремят тимпаны в ушах.

«Варвар!» – дребезжат стекла на окнах.

«Варвар! Варвар! Варвар!»

Ошеломленный юноша Бесплотных застывает каменным столбом. Остальные работники, услышав истерические возгласы, в спешке разбегаются и прячутся по разным углам – чай, не впервые бесится славная профессорша.

Ничто не удивляет Фуражкина, давно привыкшего к превратностям судьбы. Хладнокровно сворачивает он свою небесную геометрию в рулон и, остановившись на выходе, тихо предсказывает: «У вашего фонда пророческое название – торжество поистине будет незабываемым».

Ленинградское дело

Комментарий Самохина «Вечерней газете»

Накануне праздника Москва преподносит Петербургу свой традиционный подарок – очередное ленинградское дело. Особо приближенные фигуры одна за другой обвиняются в невероятных злодеяниях. У меня под телевизором, например, нашли дохлую муху. Кто-то зацементировал отверстие с тараканами – своеобразную питерскую достопримечательность, сославшись на некое поручение губернатора. Кто-то зарыл в траве-мураве целый миллиард золотых рублей, спрятал под кустами в каких-то парках.

Разумеется, такого случайно не бывает. Это – попытка проверить губернаторский костяк на прочность, а заодно опорочить петербуржцев, обозвав их прозорливыми сусликами российских финансов. Но массовики-затейники ленинградского дела опять просчитались: никто из особо приближенных фигур не дал показаний на губернатора, который бросил вызов московской семибоярщине. И теперь Москва находится в растерянности: обмазать дегтем Александровскую триумфальную арку, через которую проходит главная гостевая дорога, или не обмазать? Очевидно, что бесчисленные гости, приглашенные со всего света на юбилейные торжества, вряд ли захотят выпачкаться в грязи. А может, они пойдут другим путем?

Телефонная интермедия

«Дух Дельвига арестован!»

«Как арестован? Он же дух! Он же неприкосновенен!»

«А вот так – сидит теперь в Крестах под семью замками».

«Да, оттуда не сбежишь».

«Для духа нет преград – ему и “Кресты” нипочем».

Окнище в Европу

У самого синего моря возвышается дом на семи столбах, на семи ветрах. Живет в том доме другой Фуражкин – одиночеству с памятью смертной. Встает по утрам, протирает кристаллы военно-морского бинокля и смотрит в безбрежную даль. Там петровские форты синеют горбатыми чудовищами, выплывшими из пучины. Там купол Кронштадтского собора светится маяком неугасимым, опускаясь из-за рваных облаков. Там мелкие суденышки снуют по морскому фарватеру, барахтаясь в неизбывных волнах. «Окнище, – вспоминает другой Фуражкин знаменитую дефиницию Альгаротти. – Окнище в Европу».

Рядом с окнищем в Европу висит на стене окнище в Историю – стародавняя картина императорского академика Блинова, изображающая прибытие французской эскадры в юбилейный Санкт-Петербург – салют над кораблями клубится голубыми дымками, салют над набережной кружится страусиными перьями. «Как славно начинался минувший век! – глядит на картину Фуражкин. – С мишурной пальбы начинался, с порохового восторга начинался, с ветерка перистого возникал! Увы, где теперь алые паруса мечтаний, отпылавшие на горизонте?»

Другой Фуражкин, как заправский кок, приступает к приготовлению неповторимого питерского разносола – корюшки под хреном. Он тщательно потрошит серебристую рыбку, источающую весенний запах свежего огурца, на минутку опускает ее в крепкий соленый раствор, а затем обмакивает в хрустатой муке и жарит на чугунной сковородке, брызжущей жгучими пузырьками подсолнечного масла. Пока рыбка обретает дорогой золотистый цвет, натирает корешок слезоточивого хрена, укрощая его крепость итальянским винным уксусом и крупной щепотью сахара. Затем полоски обжаренного золота укладывает на старинную тарелку, по краям которой кружатся синие петровские галиоты, и обильно поливает сладким хреном. Вот и самодельная настойка – чистый спирт из аптечного погребка да пахучая мята из берестяного теска – уже мерцает на столе.

«Ну, чтоб флагшток стоял и бронированная палуба блестела!» – опрокидывает жестяную кружку Фуражкин и в одиночестве закусывает. Виват, корюшка под хреном!

Из окнища Европы выплывает океанский лайнер, мерцающая серебристыми изгибами. Он рассекает невские воды штевнем – высоким, острым, гордым. И видится Фуражкину, будто на штевне драконья голова пестроцветная яростно извергает феерический огонь, а на корме чешуйчатый хвост жаром горит. «Серебряный Змей, – читает другой Фуражкин надпись на борту. – Великолепное имя, достойное корабля викингов. Но нет на нем алых парусов мечтаний, и стрелка корабельного барометра наверняка показывает на пустоту. Туда направлена и мишурная пальба, и прочий пороховой восторг. И реют свободные флажки мира над седой пучиной – сами по себе».

У персидского кота Тимофея – отличная родословная. Его эпическим дедушкой был Вергилий, названный в честь певца тучных пастбищ, сел и вождей, а отцом – романтический Гораций, утонченный искатель любви с зеркальными отражениями. Сам Тимофей был наречен во славу древнегреческого кифареда, приладившего к семиструнной лире барбитос еще четыре струны:

И вот, владея слухом верным,
Теперь пришел другой колдун,
Который чистым звукомером
Одиннадцать настроил струн.

Однако судьба искусного кифареда, свободного и независимого, а потому гонимого отовсюду, отразилась и на кошачьей участи. Кота передавали из рук в руки, как бульварную газету. Наконец он потерялся, заодно потеряв свое природное имя, и нашелся в Шереметевском особняке, где обрел другое прозвище.

«Ну, Васька так Васька», – решил Тимофей и вульгарно пометил ножку священного дивана свободы, насквозь пропахшего рыжим иностранным собратом, за что был тотчас наказан служительницей. Эта служительница не давала ему проходу, пока за персидского кота не вступилась черная штормовка, явившаяся невесть откуда. Штормовка поместила Тимофея в мешок и отнесла к четырем углам, расположенным у самого синего моря.

«Верую, ибо чудесно» – увидел он ученую надпись в красном углу, озаренном божественными квадратами, крестами и кругами, и мгновенно сообразил, что его очередным хозяином стало существо возвышенного склада. В остальных углах размещался склад различных раздумий, стиснутых золочеными переплетами. Тимофей облюбовал некие небесные размышления, украшенные ночной супрематистской конструкцией. Они валялись на полу и выглядели бесхозными, требуя своего обозначения.

«Ай да Васька! – вскрикнула штормовка, обнаружив, что небесные размышления Розенштока, так сказать, Хюсси плавают в благовонной лужице. – Унюхал с ходу безбожника!»

Суть в том, что Розеншток, так сказать, Хюсси отрицал всяческую веру, всяческую религию. «Бог, – рассуждал он, – это просто наша способность высказывать истину, но так, что высказывание становится еще и событием». Возвысив слово до заоблачных небес, Розеншток, так сказать, Хюсси на самом деле низринул его в мрачные бездны земли: «Всякий, кто говорит, верует в Бога, потому что говорит». Неизвестно, стало ли событием это парадоксальное высказывание среди говорящего и, в частности, богохульствующего населения. Однако персидский кот Тимофей с ходу разобрался в мудреном словоблудии, и достойно ответил американскому мыслителю от имени всех бессловесных тварей Божьих. Его жиденький ответ стал настоящим событием, по крайней мере в одном из четырех углов.

Тонкое чутье на настоящесть персидский кот Тимофей приобрел еще в отрочестве, когда питался ломтиком чарджуйской дыни, сердечком астраханского арбуза, кружком эквадорского банана. К сожалению, вместо этих юго-восточных лакомств новый хозяин потчевал его то жирными русскими шкварками, то тощими латышскими хвостами. А в тот день он вообще жарил весенние огурцы на подсолнечном масле. «Ну, уж дудки! – решил Тимофей. – Жареными огурцами я точно завтракать не буду!»

Он расположился на подоконнике, созерцая за окном праздничный каботаж серебряного океанского лайнера. С кухни долетали заманчивые приглашения разделить трапезу, но Тимофей только почесывал за левым ухом да продолжал созерцать. Наконец хозяин не выдержал и, явившись к подоконнику с полоской обжаренного золота, обнаружил кота в положении лежащего забастовщика, молча протестующего против хоровода разноцветных флажков над океанским лайнером:

«Васька, ты что – антиглобалист?».

Капитул

Капитул – это не безоговорочная капитуляция. Капитул – это мистерия рыцарского ордена, где выпиваются бочки капитанского джина, пожираются горы жареных каплунов и поются веселые куплеты о ненасытных капуцинах. Издавна капитул заседает в средневековом замке Змеиное логово, следуя мудрому завету весельчака Франсуа Рабле:

Опустошайте кубки, когда они полны!
Наполняйте кубки, когда они пусты!

Иногда эта блестящая команда обжор и пьяниц отправляется на корабле «Серебряный Змей» странствовать по морям-окиянам, причаливая к иным берегам и фраппируя иные прибрежные окрестности. В Петербург эта команда явилась на юбилейные торжества и устроила капитул в своем корабельном чертоге, отделанном золотыми зеркалами, раковинами скатного жемчуга и огромным трезубцем морского царя, куда пригласила отдельных представителей туземной элиты, чтобы обучить их европейским стандартам винопляса.

К приходу Поребрикова и Бордюрикова обученными оказались директор водочного завода, директор собачьего питомника и директор палаты высокого качества жизни. Стоя на коленях, они уже поклялись ради Святого Винсента спустить водочный завод и цепных псов, а также опустить европейский стандарт до уровня прожиточного минимума петербуржцев. И теперь всю плясали, корча рожицы.

Между тем трубят златокованные трубы. Обрюзгший председатель поднимается с трона, подает магический знак, и начинается главное действие – посвящение будущего губернатора Яблочкова в рыцари духа и брюха. Петр Алексеевич Яблочков, страдающий наполеоновским комплексом «от горшка три вершка», вытягивается на цыпочках так, что его треуголка шаловливо касается инкрустированного пупка Волочайкиной. «Как кыбла для молящихся твой

лик, – млеет интеллектуальная дамочка, эротично вращая атласными шальварями, – но свет его и в кабачок проник».

Председатель преподносит Яблочкову наполненный кубок, обвитый золоченой змейкой, а затем троекратно ударяет по лбу причудливо изогнутым древком виноградной лозы и вешает на грудь пурпурную ленту с серебряной чашечкой. Чашечка повисает тяжелой мученической веригой, и новопосвященный рыцарь рушится на колени.

«Клянись! – шепчет Яблочков, и крупные слезы виноградом катятся по его лицу. – Клянись, я знаю, куда идти. Я вижу перед собой лампочку истины, сияющую над нашей убогой дырой. Я возглавлю народное шествие к счастью!»

«Ура!» – Участники капитула опорожняют наполненные кубки и энергично передвигаются к столу, украшенному блюдами с розовой семгой слабой соли и золотистой осетриной горячего копчения, молодым лососем, приготовленным на холодном дыму, и свежими устрицами, обрамленными дольками лимона, огромной рассыпчатой кулебякой из судака и черной зернистой икрой, тающей на губах, ароматным филе форели с утомленным виноградом и соусом из королевских креветок.

Рецепт рыцарского бутерброда

На прозрачные ломтики белого хлеба намазывается хорошее сливочное масло. Далее достаточным слоем кладется черная зернистая икра, которая прикрывается сверху тонкими кольцами сладкого лука.

«Европа! – причмокивает Бордюриков, поглощая семгу слабой соли вперемежку с золотистой осетриной и молодым лососем на холодном дыму – Союз благоденствия и процветания! Чудо чудное, диво дивное! Про этот союз еще Пушкин писал: какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!»

«Это он про братьев-разбойников писал. Но ты, многопищный мой, не обольщайся! Ибо не войти тебе, как Яблочкову, во врата благоденствия – ярыжки не пустят! – с подозрением рассматривает Поребриков устриц, окаймленных дольками лимона. – Часом, ты не ведаешь, кто приставил к нам этих церберов?»

Действительно, два черных пса королевской крови, высунув кровожадные языки, бдительно охраняли выход из морского чертога, преисполненного сочными гостями. Церберов сдерживали зеленоватого вида полицаи, вооруженные метлами с разноцветными ленточками. Полицаи плотоядно помалкивали.

«Этих красавцев, – приступает Бордюриков к ароматному филе форели с утомленным зеленым виноградом, – этих милых псов Питеру подарил дружественный союз европейских племен. Один пес все время угрожающе рычит, и потому его зовут Ричи, а другой – все время отмалчивается, и потому его зовут Тэш. Они будут охранять границу благоденствия».

«Чего ради?» – давится Поребриков устрицами.

«Культурная Европа нас опасается, – разваливает Бордюриков кулебяку из судака, обмазывая ломоть черной зернистой икрой. – А опасается после того, как туда наш философ поехал – Неизвестный никому, и всех там перепугал, охотясь за кроликами в Булонском лесу».

«Ему что – своих дремучих чащоб мало?»

«Хотел понюхать тамошнего воздуха свободы».

«И что?»

«Понюхал и озверел. Видишь ли, мы под свободую понимаем волю – так, чтобы душа во всю ширь поднебесную развернулась, песню звонкую запела и полетела в неопределенном направлении, никого ни о чем не спрашивая. А они под свободую понимают не волю, а ее видимость, ее утвержденный чертеж – полететь можно куда угодно, но только по разрешенному

маршруту, запеть можно когда угодно, но только в разрешенное время суток. У них, как сказал Вольтер, свобода заканчивается перед самым носом – ни погулять вдоволь, ни потешиться».

Как бы подтверждая этот вольтерьянский постулат, зеленоватый полицай трижды ударяет метлою: «Капитул капут!». Развеселившийся народ на мгновение смолкает и вопросительно глядит на Яблочкова. Яблочков нахлобучивает воинственную треуголку и патетически вскидывает руку, призывая народ к подвигу.

Народ бросается к праздничному столу и стремительно сметает с него всяческие напитки и кушанья. Поребриков успевает рассовать по карманам 6 бутылок капитанского джина, Бордюрчиков – завернуть в носовой платок большой ломоть кулебяки, 26 кусков золотистой осетрины, 9 устриц и 32 маслины, а интеллектуальная дамочка Волочайкина – наполнить до краев свою бархатную сумочку муссом из разогретого белого шоколада, взбитого с душистым ананасовым сиропом.

После свершения подвига чудесный морской чертог смахивает на грустный береговой пейзаж, подвергшийся ужасному цунами, и лишь надкушенный рыцарский бутерброд, одиноко покачивающийся на трезубце морского царя, слегка напоминает о недавнем роскошном пиршестве.

Ублаготворенные гости, направляясь к выходу, с опаской обходят рычащего цербера и приятельски похлопывают молчащего. А дальше бредут вдоль запретительных канатов, натянутых между указателями европейского маршрута, спускаясь по зыбкому трапу на набережную вечернего заката. «Из-за острова на стрежень», – взвизгивает Яблочков, возглавляющий народное шествие. Захмелевший народ, охраняемый конвойными псами, подхватывает протяжную песню про Стеньку Разина и персидскую княжну ненароком брошенную за борт всеобщего счастья.

Французские кролики

Из криминальной хроники газеты «Le Monde» (Франция)

Согласно материалам судебного дела, 52-летний россиянин, проживающий недалеко от Петербурга, приехал во Францию в качестве туриста. Вскоре в одном из парижских борделей у него украли паспорт и почти всю наличность. В ожидании, пока друзья пришлют средства на обратный путь, он на оставшиеся деньги купил палатку и ружье, чтобы жить в Булонском лесу и охотиться на кроликов.

«Возможно, это решение было не самым рациональным, – признался россиянин на суде. – Но я хотел пожить здесь, как у себя на родине».

Спустя неделю, в состоянии легкого алкогольного опьянения прогуливаясь по Булонскому лесу с ружьем, он наткнулся на двух бомжей с собакой, устроившихся на ночлег под мостом. Как утверждал подсудимый, собака набросилась на него, и он дважды выстрелил. При этом одним выстрелом убил собаку, а вторым – ранил бомжа. Однако приятель пострадавшего показал, что россиянин стрелял по ним, «как по кроликам».

Испанский воротник

На набережной вечернего заката, неподалеку от Медного всадника, стоит городской умалишенный Багдадов. Демонстративно стоит, но предусмотрительно – на расстоянии милицейского свистка. На впалой груди умалишенного висит самодельный плакат:

Долой
тоталитарную
оккупацию
кося!

«Семь веков лет назад европейцы воздвигли здесь крепость Ландскрону, – поясняет он трем случайным рокерам, шатающимся праздно. – Это была славная твердыня независимости, охраняемая деревянными башнями с бойницами. Это была чудесная корона мира, заблиставшая на невских берегах. Увы, ее безжалостно уничтожил этот сумасшедший кумир на бронзовом коне, и вот с тех пор мы имеем то, что имеем – душную тюрьму народов без форточки».

«Вот – пожалуйте!» – делает Багдадов нервический жест, приглашая рокеров полюбоваться на милицейский воронок, припарковавшийся у набережной. Воронок выглядит угрожающе – его голубые мигалки-моргалки неустанно посверкивают, его непроглядные стекла неустанно следят за демонстрантом. Оборачиваются назад случайные рокеры – за непроглядными стеклами воронка вспыхивает сигаретный огонек, как добрый напутственный знак.

«Да, скифы мы! – Белый волк осторожно освобождает впалую грудь Багдадова от тоталитарной оккупации. – Да, азиаты мы!» Напрягается Багдадов, не ведая – то ли радоваться освобождению своему, то ли печалиться. А Белый волк, ухмыляясь, продырявливает бумажный плакат и резким, грубым движением напяливает его на голову умалишенного, да так внешне, что тот только успевает выдохнуть: «Ой!».

Захмелевший народ, спустившийся с трапа океанского лайнера, обнаруживает на набережной городского умалишенного с большим испанским воротником, как кабалеро. «Кажется, карнавал начался», – предполагает Бордюриков.

Тут кабалеро начинает выделять изысканные пируэты, по-лебединому взмахивая трагическими руками в сторону рокеров, не торопясь удаляющихся в сумеречное пространство: «Милиция! Милиция!». Но милицейский воронок, посверкивая голубыми мигалками-моргалками, отъезжает индифферентно. «Если власть безучастна, – соглашается Поребриков, – значит, праздник действительно начался».

Подделка

Временами Петербург испытывает неподдельный интерес к своему исконному наименованию. Петр есть имя каменное, и камень этот – драгоценный изумруд, густозеленый, как пустынная балтийская волна. Его кристаллическая система шестиугольна, как шестиугольна каменная крепость с бастионами, воздвигнутая Петром Первым на берегу пустоты. Такая мистическая связь не бывает случайной.

Когда-то самый большой изумруд принадлежал царю Соломону, который преобразил его в священный сосуд. Этот сосуд был захвачен крестоносцами в Палестине и доставлен в Геную, где поначалу хранился в железном сундуке дожа, а потом был торжественно перенесен в собор Святого Лаврентия. По повелению императора Наполеона, покорившего генуэзцев, священный сосуд изъяли из собора, как трофей, и отправили в Париж, где вскоре признали его обыкновенным сосудом густо-зеленого стекла и возвратили назад. Так самый большой в мире изумруд оказался подделкой.

Вообще, подделка есть плод зеркального ума, стремящегося воспроизвести идеальный образец, созданный Творцом, и уже в силу этого являющийся неповторимым. Искусством подделки в совершенстве владеет дьявол, который способен лишь подражать творению Божьему. У дьявола нет своей творческой идеи: он умеет только заимствовать, копировать, профанировать. Увы, Петр Первый тоже был копировщиком – он старательно подражал иноземным образцам. Как отмечал Жан-Жак Руссо, «у Петра не было подлинного гения, того, что творит все из ничего – он имел подражательный талант».

Изумрудный город, построенный по чужим чертежам, целое столетие пристраивался к чужим именам. Он сказывался то Новым Римом, то Новым Амстердамом, то Северной Венецией. Так всегда случается, когда отсутствует свое собственное Я – свой собственный миф. В средневековье подобное самозванство называлось научным термином – ИагШаПо поттН. Как

будто, присвоив другое имя, можно обрести и другую сущность – ее красоту, ее великолепие, ее славу. А получается, что никак не получается, – в Штатах есть и Москва, и Петербург, но они все равно являются заштатными городишками.

А русский Петербург стал мировой столицей лишь тогда, когда придумал свою неповторимую легенду – легенду о том, как оживает камень Петра. Возвышался себе у невских вод громовой валун с простертой царственной рукой, и вдруг – воскрес, поднялся на дыбы и поскакал по мостовым, преследуя бедного умалишенного. Уже не имеет значения, настиг он его или не настиг, а вот то, что поднялся среди ночи и понесся во всю мощь, – представляется судьбоносным. Отныне в Петербурге каждый камень кажется громовым, кажется живым, поскольку знает и исподволь готовится. Но что он знает, к чему готовится, не знает никто, кроме камня. Может – опуститься на дно к чертогам морского царя, как Садко Новгородский, а может – поплыть вниз по течению, через моря-окияны, как Антоний Римский. В общем, каменный замысел – великая тайна, которая и составляет суть петербургской легенды.

А ведь все начиналось с обыкновенной подделки.

Опаньки с притопом

Конечно, сам Петр Первый не был подделкой хотя бы потому, что был первый. За ним последовали Петр Второй и наипаче Петр Третий, который наяву оказался ужасным бунтовщиком Емельяном Пугачевым. После четвертования на Красной площади в Москве имя Петра разбрелось на все четыре стороны, и теперь каждый, кому не лень, называл себя Петром. Особенно много Петров, понятное дело, скопилось на берегах Невы. Эти самозванцы даже создали дурацкое братство Петек. Их отличали особые петушиные гребешки, а именно:

наглость,
нахрапистость,
беспардонность,
бесцеремонность,
беззастенчивость,
бессовестность,
бесстыдность,
нахальство,
дерзость,
буйство,
неистовство,
исступление,
бешенство,
ярость,
гнев.

Эти петушиные гребешки были всего-навсего подобием страшной звериной маски, которую надевают на Святки ряженые, чтобы отогнать смертную скуку-докуку и повеселиться вволю. На самом деле Петьки были самыми добрыми существами на свете, когда, готовясь к юбилейному карнавалу, проходящему под девизом «Больше Петров – меньше Петровых», натягивали оморяченные тельняшки, опоясывались пулеметными лентами с хлопучками и, подражая революционным матросам, отправлялись бесшабашной ватагою на простор.

На просторе Зимний дворец сияет, как невеста, – затейливые белые букли, обрамляя высокие окна, ниспадают по нежно-зеленым стенам. А напротив жених красуется – строгое, стройное здание Главного штаба, увенчанное крылатой Никой, пламенеющей, как кокарда.

Чудится, вот-вот зазвучит духовой оркестр: баритоны изолят из раструбов густую медленную медь, а корнеты – звонкое переливчатое серебро, и сойдутся жених с невестой, закружатся в полонезе.

Но не бывать сегодня полонезу – улюлюкая, стремглав несется к Зимнему дворцу бесшабашная ватага революционных Петек на зафрахтованном грузовике, переделанном под мятежный крейсер «Аврора». Из всей мочи дуют Петьки в три крейсерские трубы, как в дуду, и такая буйная, неистовая пляска начинается на просторе, что сдается – самой Александрийской колонне не устоять.

«Опаньки!» – притоптывает каблуком Петька и делает три проходочки по кругу. «Опаньки!» – притоптывает каблуком другой Петька и делает три приседания от пуза. «Опаньки! Опаньки! Опаньки!» – лихо отплясывает петушиная братва, свивая в ленту пышный стан, летя, как пух от уст Эола. Где, как, когда всосала она в себя этот дух, откуда взяла эти неподражаемые неизучаемые приемы? Ответ прост: опаньки с притопом обретались в русском человеке изначально, поелику он всасывал эти неподражаемые приемы, как говорится, с молоком матери.

Ведь когда рождается французский человек, он зычным голосом орет: «Пить! Пить! Пить!», и его по доброму обычаю сразу же окунают в купель, наполненную красным бургундским вином. Когда рождается немецкий человек, он зычным голосом орет: «Жрать! Жрать! Жрать!», и его по доброму обычаю сразу же причащают к колбасам, набитым жирной свиной требухой. Когда же рождается русский человек, он безмолвствует, и его по доброму обычаю хлопают по заднице: «Опаньки! Опаньки!». И сразу же пускают по миру – плясать да выкаблучиваться.

«Дорогие петербуржцы! Мы с вами находимся на праздничном празднике среди веселого веселья. – Необъятная телеведущая Юлия Перченкина взгромождается на карнавальный крейсер, каковой от девичьего подгруза дает сильный крен. – Здесь трубят в трубы и танцуют танцы различные исторические персонажи».

«Опаньки с притопом – это дело всенародное, – раскуривает перед телекамерой свою курительную трубку Исторический персонаж. – Это такая же священная потребность тела, как молитва – потребность души. Считается, что опаньки с притопом выше симфонической музыки Петра Чайковского и силлабо-тонической поэзии Петра Вяземского, поскольку только пляшущий человек, без всякого звукового сопровождения, сам по себе становится и строфой, и арфой, и Орфеем. Как учил один киммерийский мудрец, надобно плясать опаньки так, чтобы все наше тело стало лицом. Поэтому, наблюдая за пляской, будьте осторожны и не приближайтесь к плясуну, когда его разгоряченный лик превращается в другую часть тела».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.